

# Алексей Макушинский

## Три дня в Ельце

*Памяти моей матери*

1.

Мы приехали в Елец в жару, в августе; на вокзале была, разумеется, толчея, мужики, продававшие пиво, бабы с беляшами в ведре; был чудовищный, разбитый асфальт, на котором колесики наших чемоданов ехать отказывались – и был сам вокзал, куда мы зашли, чтобы справиться о билетах для дальнейшего путешествия (мы собирались доехать затем до Старого Оскола и дальше до города Валуйки Белгородской области). Из трех кассовых окошечек открыто было, как водится, только одно, перед коим уже выстроилась, разумеется, очередь. Стоять в ней мы не стали, но принялись осматривать сам вокзал, вполне, по-видимому, старинный, со странно высокими, полукруглыми и с трех сторон слепыми окнами, расположенными как будто на – несуществующем – втором этаже, под самым потолком в перекладинах; под окнами же обнаружились разноразмерные, в тошнотворном поздне-советском стиле, картины, долженствовавшие, очевидно, продемонстрировать восхищенным пассажирам и путешественникам славную историю славного города от древнейших времен до наших героических дней. Баснословные витязи, счастливо склабясь, перевыполняли план по сдаче сырья государству, и Петр Великий с восторгом строил очередную гидроэлектростанцию. Героика снаружи продолжилась; на бледно-розовой внешней стене обнаружили мы, откровенными шурупами приделанную к ней, табличку, гласившую: «Здесь, защищая вокзал, 31 августа 1919 г. сражался отряд красноармейцев под командованием комиссара-писателя Александра Вермишева. В этом бою Вермишев был тяжело ранен, схвачен и замучен белогвардейцами». Елец, в самом деле, был занят белыми в первых числах сентября 1919 года во время знаменитого «рейда Мамонтова по тылам красных», предшествовавшего большому деникинскому наступлению на Москву, когда все еще казалось возможным и бесы готовились уже к бегству, но втайне намечался уже роковой перелом, исподтишка подступали уже осень, холод и катастрофа. Меня этот эпизод гражданской войны интересовал не в первую

очередь; мне хотелось, скорее, разузнать что-нибудь о другом ее эпизоде, о так называемой «Елецкой республике» 1918 года, призрак которой странным образом преследует меня с юности.

2.

В многоэтажной советской гостинице с оригинальным названием «Елец», стоящей, якобы, на том месте, где была, якобы, корчма, в которой, по пути в Арзрум, останавливался, якобы, Пушкин, заграничный мой паспорт вызвал нескрываемый ужас у милейшей администраторши, вязавшей, заглядывая в журнал с выкройками, цветастую кофточку; где же я прописан, спросила она. В Мюн-хе-не?! А в России где же? Где-то, сказала она, складывая спицы, всякий человек прописан быть должен. А то, может быть, вы *в бегах*? Может быть, вас *разыскивает милиция*? Я похож на человека, которого разыскивает милиция? спросил я. Нет, признала прелестная Парка, нет, не похож. Но прописка должна быть у человека. По-настоящему следовало бы мне в милицию вас и отправить... Тут хитрая А. заявила, что я, во-первых, прописан у нее в Петербурге, во-вторых же, что кофточка получается просто чудо и нельзя ли рассмотреть узорчик получше. На этом и порешили, узорчик был рассмотрен, одобрен. А горячей воды в городе нет, объявила, уже улыбаясь, уже любя нас, администраторша, так что уж я и не знаю... Мы устроились, в конце концов, в номере, соседнем с душевой, в которой воду согревали бойлером, причем тепло доходило и до нашего душа, с незакрывавшейся дверью и такими *удобствами*, на которые лучше было все-таки не смотреть; из окна этого, с распадающейся мебелью, номера виден был город и холмы за ним, широкое, привольно распахнувшееся пространство этих холмов, вид, напомнивший мне, к собственному моему удивлению, вид на Регенсбург, где я прожил несколько, не самых счастливых, лет, вернее, на то, что за ним, холмы за ним и Дунаем, уходящие к Баварскому лесу, если смотреть на них, например, с какого-нибудь верхнего этажа одного из немногих в городе высоких, высотными вряд ли можно назвать их, домов. Так, подумал я, времена и пространства нашей жизни вдруг накладываются друг на друга, образуя узор, смысл которого и пытаемся мы разгадать.

3.

В отличие от Белгородской, к примеру, губернии, где люди маленькие, беленькие и злые, Елец населен добродушными бугаями и чудными толстыми тетками, коих взоры и формы сулят заезжему чужестранцу пуховое, неземное блаженство. Конкретный

бугай, доvezший нас до гостиницы, посоветовал нам пообедать в столовой какого-то строительного, что ли, управления, где, по его словам, готовили лучше, чем в любом ресторане; разыскав оную в глубине раздолбанного двора, по темной и грязной лестнице поднялись мы в одуряющий столовско-совковский запах, из которого тут же, разумеется, и бежали, снова на улицу, на поиски ресторана. Каковой мы вскорости и нашли – на главной, пешеходной улице, в ресторане же был, о счастье, кондиционер, благословенное изобретение человечества. Солянка и котлета по-киевски утешают в любых обстоятельствах. Не обошлось без скандальчика. Две девушки сидели неподалеку от входа, вдвоем, посреди дня, выпивая, пьянея. Чем пьянее, тем, соответственно, шумней они становились, и тем нервнее двигались официантки, все менее охотно к ним подходившее. А они настаивали, они звали, они хриплыми голосами требовали к себе уважения. Лица я, к сожалению, не могу теперь вспомнить, я сидел спиной к ним, время от времени на их выкрики, разумеется, к ним оборачиваясь. Никакие были, наверное, лица. Я достал из рюкзака дневник Эрнста Юнгера, взятый с собой в дорогу, не тот знаменитый дневник, который он вел во время Первой мировой войны и потом издал под названием «В стальных грозах», но дневник времен следующей, Второй мировой войны, включенный затем в его книгу «Излучения», дневник, начинающийся в апреле 1939 года, в пору работы Юнгера над, может быть, лучшим его романом – или повестью? – «На мраморных утесах», *Auf den Marmorklippen*, в которой ужас надвигающейся, надвинувшейся на мир безудержной власти передан в странных, отрешенных и призрачных, от всего временного и случайного как будто освободившихся – и в то же время телесных, земных, звериных, змеиных, кровавых, осязаемых образах. Дневник, в том издании, которое у меня было с собою, доходит до февраля 1943 года; с ноября 42-го по январь 43-го Юнгер находился в оккупированной России, в Киеве, Ростове, Ставрополе, который назывался тогда и который он, Юнгер, тоже упорно зовет «Ворошиловском», затем на Кавказе, в местах, названия которых ничего не говорят мне, в Белореченской и каком-то Куринске, затем в Кутаиси, в Майкопе, в Теберде, опять в «Ворошиловске», в Киеве. Маршрут его можно было бы проследить, конечно, по карте. Он ничего не пишет в дневнике о целях своей поездки; мы знаем теперь, что он был послан в Россию командованием размещенных во Франции сил вермахта, с целью проверить настроение генералов и офицеров на Восточном фронте в смысле их возможного участия в заговоре против Гитлера. Все равно внутренне вздрагиваешь, читая эти записи благородного оккупанта... Его первые впечатления. Есть волшебные страны, колдовские места на

земле, но есть и другие, где расколдовывание удалось в совершенстве, где чудесное исчезло без следа. Этот мотив расколдованного мира, мира без очарования повторяется многократно; в «Ворошиловске» он живет «в здании ГПУ», как он пишет, забыв или не зная, что славная сия организация с 34-го года называлась НКВД, здании громадном, как все полицейско-тюремное в этой неволшебной стране. Погода 24 ноября 1942 была дождливая в «Ворошиловске», улицы покрыты грязью. Некоторые улицы все же приятнее других, дома, построенные при царе, излучают еще некоторое тепло. Чудовищные советские коробки подавляют все вокруг. Вообще, сквозь старые здания просвечивает что-то варварское, что все же симпатичнее абстрактной ничтожности новых построек. Здесь можно сказать словами Готье: «La barbarie vaut mieux que la platitude», причем *platitude* лучше всего перевести словом «нигилизм». «Варварство лучше нигилизма»... Ни о каком «нигилизме» сам Готье, конечно, не думал, он думал именно о *platitude*, о пошлости и безвкусице, но перевод все же правильный для данного случая, говорил я А., смотревшей на меня чуть-чуть тигриными своими глазами. Лучше уж варварство, чем этот абстрактный и расколдованный мир.

4.

Немцы всего неделю, того меньше – пять дней, были в Ельце, причем совсем рано, в самом начале, в декабре сорок первого года. Но меня, как сказано, интересовала не эта, а та война, Первая мировая и вслед за нею – Гражданская, та война и те войны, после которых, конечно же, и началось столь успешное расколдовывание мира, убийство тайны, гибель чудесного..., и как тут не вспомнить ахматовские строки семнадцатого года о том, что теперь никто не станет слушать песен, предсказанные наступили дни, моя последняя, мир больше не чудесен, не разрывай мне сердце, не звени... Гражданская война в Ельце отмечена, еще раз, двумя основными событиями. Был, 31 августа 1919 года, захват города казаками генерала Мамонтова, или, правильнее, Мамантова, совершавшими свой знаменитый рейд по тылам красных, взорвавшими, захватив город, железнодорожный мост через Быструю Сосну, как называется совсем не быстро текущая сквозь Елец, с высокими берегами, река, которую уже мельком видели мы, из окна такси, по дороге от вокзала к гостинице, запалившими этот самый вокзал и замучившими, следовательно, защищавшего его, то есть опять же – вокзал, как гласит приведенная выше надпись, и что-то есть, не правда ли, трогательное в этой формулировке «защищая вокзал», как если бы этот вокзал сам по себе, безотносительно к красным и белым, генералам и комиссарам, был какой-то высшей и хрупкой

ценностью, чем-то таким стеклянным, воздушным, прекрасным, что следовало, при всех обстоятельствах, защищать, охранять..., замучившими, значит, хотя что это значит? – расстреляли, наверное, вот и все, или пытали все-таки? как пытали? – комиссара-графомана А. Вермишева, сочинявшего, чтобы уж сразу разделаться с ним, хотя всех замученных, разумеется, жалко, что бы они ни делали, стишки типа: «Юденич прет на Петроград – Гад! Красной армии солдат – Брат!..» и т.д. и т.д., стой, мол, красной армии солдат, насмерть и белой сволочи не сдавайся. И была, годом раньше, в 1918-м, та «Елецкая республика», о которой я впервые услышал, когда мне самому было лет двадцать и которая с тех пор не дает мне покоя. Была – Елецкая республика? Или ее не было? И если была, то что такое была она? Я, собственно, затем и приехал в Елец, чтобы разузнать о ней что-нибудь. Нет, не только за этим. Еще и затем, что Елец – это Бунин, что Бунин, учившейся здесь в гимназии, описывал его все снова и снова, и в рассказах, и в «Жизни Арсеньева», и в Париже, и в Грассе, вновь и вновь всматриваясь, следовательно, сквозь свое эмигрантское настоящее, сквозь сияние провансальского дня, сквозь пальмы и пинии, в исчезнувшее и погибшее прошлое, яблоневые сады на тихих и пыльных улицах, и как же, в свою очередь, не попытаться, всмотревшись, увидеть сквозь расколдованный этот, с памятником Ленину, гори он в аду, тот, другой, несуществующий более город, о котором давно уже знал я, что «нигилизм» не окончательно его уничтожил, не полностью раздавил ничтожными своими коробками, пустячком пирамид, что советская власть как-то его проглядела и что если где-то и следует искать исчезнувшее, погибшее, невозвратимое, то именно здесь.

## 5.

Памятник Бунину обнаружили мы довольно скоро, предварительно насладившись жанровой сценкой изгнания пьяных девушек из ресторана, из прохладного Эдема их все менее мирной попойки; появился человек, деятельность которого определяется, видимо, словом «охранник», седой и пузатый; девушки, повозмущавшись, мы же, хрипела одна из них, кивая в нашу с А. сторону, никого не трогаем, никому не мешаем, наконец, нехотя, подчинились; голоса их стихли за окнами; мы тоже вышли на жаркую пешеходную улицу. Бунин сидел в небрежной позе, ногу закинув за ногу, на стуле наискось, левую руку положив на спинку этого стула и ладонь правой руки на опущенную кисть этой левой, постаревший Атос, думающий о миледи и былых приключениях, так что не зря, конечно, отправился он прямо, показалось мне, из Ельца

на юг Франции, где, в Грассе, тоже стоит теперь памятник ему, темный бюст на белом, вытянутом вверх постаменте, который обнаружил я, в сентябре 2001 года, когда ехал из Лангедока, где с немецкими друзьями прожил две чудесных недели в винодельческой, рыжей деревеньке недалеко от Безье, в Италию, и дальше на север; я нарочно, конечно же, остановился и даже заночевал в Грассе, в почти пустовавшей, показалось мне, гостинице где-то над городом, на холмах, откуда, с балкона, видно было море в дальней дали и спускавшиеся к морю, как бы огромной какою-то чашей, с рассеянными по ней деревнями, домами, склоны, не холмов, собственно, но, конечно же, как я понимаю теперь, склоны гор, склоны Альп, тех самых Приморских Альп, Alpes Maritimes, которыми Бунин любил помечать свои написанные в Грассе рассказы, ставя сначала дату, например, «14 сентября 1924», затем, строкой ниже, «Приморские Альпы», или, чаще, в одну строку, «Приморские Альпы, 13 июня 1924», что, очевидно, означает день окончания работы над рассказом или над повестью, скажем, над «Митиной любовью», законченной именно 14 сентября 1924, в какой-то тоже, значит, сентябрьский, и тоже, наверное, солнечный, еще совсем не осенний, разве что с легкой дымкой, робко и даже радостно намекавшей на возможность осени день, за, как не трудно посчитать, семьдесят семь до моего приезда в Грасс лет. Вилла, где жил Бунин, тоже расположена над городом, наверху; наверх, пытаюсь найти ее, и шел я, довольно, я помню, долго, по серпантинном загибавшейся улице, и неожиданно для себя очутился в том парке, где и стоит упомянутый бюст, и совершенно нерусский Бунин, отлитый в бронзе местным скульптором Жаком Вере (Jacques Vairé), удивляясь смотрит на проходящих, и французская надпись сообщает нам, что здесь жил écrivain russe и так далее, и потом долго искал оказавшуюся чуть ниже этого парка, запертую и недоступную для посетителей виллу «Бельведер», с ее, значит, тоже – прекрасным видом, о котором, например, Галина Кузнецова упоминает прямо на первой странице своего «Грасского дневника», сообщая, что она, приехавшая в Грасс весной 1927 года, уже почти три недели живет здесь, но ничего толком не делает, написала всего два стихотворения, а я, если бы за почти три недели написал целых два стихотворения, был бы совершенно счастлив, но каждому, конечно, свое, зато часто ходит по открытой площадке перед виллой и все смотрит – не насмотрится на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую...; так долго поднимался по этому серпантину, и спускался, и затем опять поднимался по каким-то неровным ступенькам, что возвратился в старый, узкоуличный город, знаменитый своей парфюмерией и потому исполненный необыкновенными, ни в каком другом месте не встречавшимися мне и по большей

части неприятными, даже просто противными запахами – как если бы некое прекрасное целое должно было возникнуть, но еще не возникло, из отнюдь не прекрасных частей – уже довольно сильно уставшим, так что, пообедав, еще некоторое время сидел, пытаюсь что-то записывать, в опустевшем кафе, и вечером съездил в Канны, и на другой день отправился дальше, вдоль берега, через Ниццу, Ментону, Сан-Ремо и так далее, в Геную, оттуда, не поддавшись соблазну поехать по карте вниз, например – в великолепную Лукку, где бывал уже раньше, покидая море, юг, счастье, по очень горным, пустынно-петлявшим дорогам, на Пьяченцу и дальше, уже по автостраде, на Брешию, останавливаясь в каких-то полузаброшенных городках, деревнях, где перед церковью всегда раскидывается, с парой платанов и памятником местным героям, солнечная, безлюдная площадь.

6.

Мне виделась (еще в самой ранней молодости начала мне видеться и с тех пор всю жизнь сопровождала или, может быть, преследовала меня) некая повесть, действие коей должно было происходить во время Гражданской войны, не в Ельце, но в безымянном каком-то городе, году в девятнадцатом, городе, освобожденном наступающими на Москву деникинскими войсками, снова занятом красными, или не занятом красными, захваченном, может быть, какими-нибудь «зелеными», какой-нибудь бандой, объявившем себя самостоятельным государством, советским или полусоветским, – в маленьком и даже совсем маленьком городе, где вместе с деникинскими армиями наступавший на север герой (моей повести) остается, поскольку где-то рядом с этим городом родился и вырос, один, после провозглашения республики прячется, кем-то преданный попадает в тюрьму, в конце концов погибает. Она (повесть) виделась мне как «роман на старый лад», как что-то простое и строгое, без автора, без долгих рассуждений, без *эссеистики*. Только действие, страсть и страдание. Ничего не получилось из этого. Эссеистика возможна, роман на старый лад, увы, нет.

7.

Почему, собственно, нет? А потому, собственно, нет, что ничего не осталось от того прошлого, в котором, на старый лад, писались – романы, что старый лад давным-давно уже погиб и утрачен, что все неладно вокруг, что мы видим лишь развалины и руины, разбитые тротуары, покосившиеся домишки, осколки сюжета и на куски разлетевшихся

персонажей, и как бы ни пытались мы восстановить утраченное, погибшее – воссоздать, ничего уже у нас не получится, так что и пытаться, в общем, не стоит. Стоит, конечно, восстанавливать церкви, как восстанавливают их, и, увы, показалось нам, только их, больше ничего и не восстанавливают, в Ельце, где церковей множество, где церковей так много, как если бы жители этого города, в погибшем прошлом, ничего вообще не делали, но только молились, крестились, причащались и исповедовались, что, конечно, неправда, поскольку город этот был когда-то одним из богатейших в России, ее хлебной столицей, отчего ему и пришлось так солоно в гражданскую войну, когда Ленин обрушился на него всей своей продразверсткой, то есть просто-напросто ограбил его до последнего зернышка, покуда же ни продразверстки, ни гражданской, ни мировой войны еще не случилось, знаменитые здешние купцы, Ростовцевы, Заусайловы, Петровы и как их всех звали, торговали не только с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем, как пишет Бунин, но чуть ли, говорил мне кто-то, и не с Парижем, на Парижскую, чуть ли, Всемирную выставку не заявлялись со своими товарами и конями, ибо коннозаводством занимались тоже усердно, успешно, сам же город ломился, по словам опять же Бунина, от своего богатства и многолюдства, чего теперь уже и представить себе невозможно, и такие были купцы эти богатые, щедрые, гордые и в самом деле, видимо, набожные, что строили и строили в Ельце церкви, еще и потому, впрочем, строили их, что, как рассказала нам на другой день по приезде в краеведческом музее милейшая, тихая и какая-то томная экскурсоводша, мечтали стать – губернским городом, а в губернском городе, якобы, должно было быть, не запомнил сколько, то ли тридцать, то ли, кажется, сорок церковей, что показалось мне, пожалуй, легендой, но спорить я с ней не стал и теперь тоже спорить не буду; вот елецкие купцы и строили, будто бы, изо всех сил эти церкви, и, конечно же, а в легендах только так и бывает, уже, под занавес, почти все построили, из сорока – тридцать девять, еще, значит, только одну какую-нибудь, захудаленькую церковушку оставалось построить купцам, но тут занавес опустился, тут началась дурацкая, будь она проклята, в четырнадцатом году, война, а вслед за ней все известные ужасы, со всеми их продразверстками, продотрядами, всеобщим обнищанием, мерзостью запустенья. Над каковой и возвышается, в прежнем величии, главный елецкий собор, Вознесенский собор, который, по замыслу заносчивых купцов, должен был быть никак не меньше, или разве что чуть-чуть меньше, Исаакиевского в Петербурге, Петербург все же, что ни говорите, столица, а так должен был быть вторым или, уж ладно, третьим по огромности собором в России, есть все-таки еще и вторая столица, Москва, а в ней как



раз строился Храм Христа Спасителя, с которым елецкий собор как будто вступил в конкуренцию, поскольку пожертвования стали собирать на него с 1815 года, записывая, кто сколько пожертвовал, в особой, «снуровой», прошнурованной, значит, книге, то есть в то же примерно время, сразу после победы над Наполеоном, когда задуман был в Москве собор в честь оной победы, или, как писал в своем манифесте Александр I, «в ознаменованье благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа». «Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков»... Храм Христа Спасителя, не тот, на Воробьевых горах, который начали строить и тут же забросили, а тот, всем известный, который потом взорвали, потом опять возвели из бетона, заложен был в 1839, елецкий же Вознесенский собор в 1845 году, Храм Христа Спасителя освящен был в 1883, а Вознесенский собор в 1889, и построены они были одним и тем же архитектором, Константином Андреевичем Тоном, построившим, между прочим, и Большой Кремлевский дворец; ельчане, короче, только Петербургу и Москве давали пред собой преимущество, а так, похоже, претендовали на роль третьей русской столицы, купеческой и хлебной столицы, столицы русского богатства, русского, куда девалось оно? избытка, и разве, думал я, подходя все ближе, сквозь жару и солнце, к собору, разве «Елецкая республика» не отсюда, не из этого же самовольно-гордого, разбойничье-купеческого, надменно-смирненного духа, мы, мол, хоть и провинция, а не хуже других и прочих, вот какой собор мы отгрохали, и государство свое устроим? Впрочем, никакой и не было, возможно, «Елецкой республики». Собор же – был, собор, с той непреложностью, которая свойственна всему прекрасному, а прекрасное ведь и есть непреложность, неизбежность, неизменяемость, парил, за деревьями, замершими от зноя, своими пятью синими куполами, в глубоком, от зноя словно вогнутом небе.

8.

На самом солнцепеке, на паперти, валялся, спал, раскинувшись, пьяный, в лохмотьях, с голыми израненными ногами. Раны были большие, не совсем запекшиеся, быть может, гноящиеся. Зеленые мухи вились над ними, садились, ползали по ногам. Средневековье в России не кончилось и никогда, наверно, не кончится. Прав был тот французский, кажется, дипломат, заметивший, году так в шестнадцатом, перед самым провалом в

бездну, что ничего хорошего не ждет страну, где общество живет в двадцать первом, государство в восемнадцатом, а народ в шестнадцатом веке. В соборе пахло, разумеется, ладаном и свечами, всем тем, чем всегда пахнет в церкви, горящим воском свечей перед темными образами, ладаном и еще чем-то мокрым, вымытыми полами, мокрыми тряпками. Людей не много было в соборе, главная часть его, железной загородкой, похожей на милицейские, используемые при демонстрациях, путчах и праздниках, отделенная от тех, ближе к входу расположенных приделов, где только и стояли перед иконами немногие тихо молящиеся, была вообще пуста. Нам повезло, однако; женщина в черном платке, очевидно служащая в соборе, хозяйским движением загородку отодвинув, направилась в эту главную часть, загородку же за собой не задвинула, так что мы, недолго думая, проскользнули следом за ней, оказавшись одни, вдвоем, «под сводами седая тишины». Тишина была не седая, но светлая, свет из высоких окон падал на расписанные колонны, громадную люстру, спускавшуюся с небес, иконостас, на котором одна икона отделена была от другой витыми пилястрами, какими-то почти игривыми на монументальном фоне всего остального. Между прочим, победившие бесы в 1934 году собор таки закрыли, разграбили, превратили в зернохранилище, въезжали в него на грузовиках, но в 47-ом году почему-то возвратили вдруг церкви, которая сразу же, шестьдесят лет назад, и начала его реставрировать, в общем, кажется, отреставрировала с тех пор целиком, а шестьдесят лет – срок вообще не малый, так что он не выглядит *новеньким*, только что заново отделанным, но кажется, что здесь все всегда так и было, никогда не было никаких грузовиков, никакого зерна. Когда мы вышли на улицу, бродяга валялся на солнцепеке все так же, в той же позе, с теми же мухами, ползавшими по его кровавым ногам.

9.

Елец, чем дальше отходишь от центра, тем решительнее оказывается городом деревянным, городом деревянных домишек, покосившихся и прекрасных. Уже упомянутый бугай, доvezший нас от вокзала до гостиницы, с гордостью сообщил нам, что многие ельчане, и он в том числе, обкладывают свои деревянные домики кирпичом, белым камнем – так оно, ясное дело, теплее и вообще, по его, бугаевскому, мнению, красивее. Это конец Ельца, разумеется. Жителей можно понять, но для города это катастрофа. Эти деревянные домики, со всеми их наличниками и палисадниками, составляют одну из его главных прелестей. Того конкретного бугая, чтобы объяснить ему это, мы уже больше не встретили. Да он бы нам, конечно, и не поверил.

10.

Не думал я, что придется мне когда-нибудь цитировать Ильича. А вот – не могу все-таки удержаться – записка его «наркому продовольствия» А. Д. Цюрупе от 5 августа 1918 года: «Ввиду критического положения с продовольствием надо не разбрасывать силы, а сосредоточить массу сил на одном пункте, где *можно* взять *много* хлеба. Предлагаю сосредоточить силы на Елецком уезде, где, по ряду отзывов и по свидетельству ревизовавшего этот уезд наркома внудел Правдина, положение дел в смысле удушения кулаков и организации бедноты образцовое. Направить тотчас, с максимальной быстротой, в Елецкий уезд *все* [подчеркнуто] продовольственные уборочные и уборочно-реквизиционные отряды с максимумом молотилок и приспособлений (если можно) для быстрой сушки хлеба и т.п. Дать задание – *очистить* уезд от *излишков* хлеба *дочиста*... Среди рабочих голодных губерний (и среди голодных крестьян там же) развернуть массовую агитацию: в поход на жнитво в Елецкий уезд!» Положение дел в смысле удушения... Какая красота, какой стиль... Максимум молотилок тоже отличная вещь.

11.

Воздух окатывал нас жарою, «дул ветер из степи», из той безмерной, за Ельцом и начинающейся степи, от которой он, Елец, среди других крепостей, призван был охранять когда-то Русь и Московию, из Дикого поля, из половецко-печенежской *невесты*, как пишут летописи; вот оттуда дул ветер. Иногда мне кажется, что я совсем не чувствую и не понимаю ту Россию, ту Русь, которую так чувствовал и понимал, разумеется, Бунин. Очень русское, пишет он, было все то, среди чего жил он в свои отроческие годы, но и он, конечно, не сразу осознал это русское, не сразу, как пишет он, почувствовал эту Россию, но почувствовал ее как-то вдруг, и причем по дороге в город, в Елец, когда отец вез его в гимназию, по большой, Чернавской дороге, как он называет ее в «Жизни Арсеньева», одной из тех больших русских дорог, которые в то время уже отживали свой век, зарастали травой, «старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозою остов. На ней сидел, черной головней чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах... Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и

по пути дотла разорил наш город сам Мамай, а потом – что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того как он наконец был пойман, не просто казнили, а четвертовали... Татары, Мамай, Митька... Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...».

12.

Не знаю, сколько церквей осталось в Ельце из недостроенных сорока, во всяком случае – много, куда бы ни шли мы, всякий раз, в пролете очередной улицы, открывалась очередная церковь, разрушенная, восстановленная, не совсем восстановленная. Среди этих церквей есть и более, чем Вознесенский собор, старинные церкви, хотя совсем древних все-таки нет – город слишком часто подвергался пожарам и разорениям – а все-таки странно, куда они все подевались. В России все куда-то девается... Самые старые церкви – восемнадцатого века. И почти отовсюду, вновь и вновь, виден собор, особенно величественный, пожалуй, если смотреть на него чуть снизу, спустившись по косогору, по каким-то петляющим и пыльным тропинкам к реке; среди заборов и домиков, между коими тропинки сии пролегали, обнаружилась вдруг, с выбитыми стеклами и проржавевшим каркасом, телефонная будка, совершенно непонятно что здесь делавшая, как будто здесь заблудившаяся; телефон еще был в ней, но шнур и трубка отсутствовали, связь с миром давно прервалась... Этот величественный стиль, именуемый иногда «русско-византийским», иногда «тоновским», по имени все того же Константина Тона, был, собственно, не чем иным, как разновидностью так называемого «историзма», он же «эkleктизм», охватившего всю Европу во второй, примерно, четверти девятнадцатого столетия. Начинается ведь, как известно, эпоха национализма (обернувшаяся, в конце концов, мировой катастрофой); вот, кажется, в архитектуре это «национальное начало» и заявляет о себе в первую очередь. «Тоновский стиль» есть, в известном смысле, архитектурное воплощение николаевской идеи «православия, самодержавия и народности», злосчастной идеи, первой в послепетровской России попытки создать собственную национальную идеологию. Так, «ложная готика», памятники которой я нахожу в Германии на каждом втором углу, была, конечно,

провозглашением немецкой национальной мощи, имперского, на глазах воздвигаемого величия. А вместе с тем, единый мировой стиль заканчивается, после ампира самостоятельность исчезает, начинаются подражания, реплики и цитаты. Начинается, в сущности, в девятнадцатом веке, архитектурный постмодернизм – до всякого модернизма, которому еще только суждено было появиться на свет, и обернуться конструктивизмом, и превратить мир в стеклянно-бетонный термитник, в котором мы и задыхаемся ныне. Варварство лучше, чем нигилизм. Но не сказать ли, что нигилизм начинается уже здесь, уже в этом отказе от единого стиля, в этой роковой подражательности, в этом, якобы, возврате к «национальным истокам», понемногу мутнеющим, разливающимся, в конечном счете, кровавыми реками?

12.

Так думал я, лежа на продавленной койке в гостинице с оригинальным названием «Елец», куда, под вечер, совершенно измученные от жары и блужданий, не выспавшиеся после железнодорожной ночи в отвратительно душном купе, возвратились мы, приняли, стараясь не особенно смотреть по сторонам, прохладный душ, выпили чаю. Каждые полчаса непонятно откуда слышны были короткие позывные сигналы, по всей видимости отмечавшие эти истекшие полчаса, впрочем, без всякой связи с действительным временем, то есть не в половину, к примеру, седьмого, а в шесть часов тридцать восемь минут, затем в восемь минут восьмого и так далее и так далее, и вслед за ними смутная радиомузыка, в которой, прислушавшись, различили мы известную военную песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...». Пусть ярость благородная вскипает, как волна... Идет война народная... Война все еще идет здесь, в этом Ельце, она здесь каждые полчаса начинается вновь. А почему не признаться, что эта песня все-таки берет меня за живое, хотя я ко всему советскому отношусь аллергически и уж точно без малейшей ностальгии? Где-то, кстати, читал я недавно, что текст ее вовсе не принадлежит Лебедеву-Кумачу, но был просто-напросто украден им, с небольшими изменениями, у некоего – вот ирония истории! – обрусевшего немца по имени Александр Адольфович (Адольфович! только подумать!) де Боде, сочинившего онный текст во время Первой мировой войны (никакой фашистской силы темной там, разумеется, не было, но была просто германская темная сила и вместо проклятой – тевтонская орда: риторика вполне в духе 1916 года; «от Канта к Круппу», как писал другой обрусевший немец, философ Владимир Эрн); в конце тридцатых годов, незадолго до своей смерти, этот Боде, к тому времени, в

советской ночи, частицу «де», конечно, утративший (фамилия его показывает, кстати, что он был отдаленно французского происхождения – как многие немцы, потомком, наверное, какого-нибудь гугенота, бежавшего из Франции после отмены Нантского эдикта; мог ли тот гугенот вообразить судьбу этого Александра Адольфовича, этот поселок Кратово под Москвой, где он доживал свой век и где я пару раз бывал, кажется, в юности) – в конце, следовательно, тридцатых годов этот уже старый Александр Адольфович послал свое сочинение Лебедеву-Кумачу, надеясь, наверное, что тот даст его песне ход, тем более, что новая война с «тевтонской ордою» уже намечалась на чернеющем горизонте. Никакого ответа от Лебедева-Кумача не последовало, а уже в начале июля 1941 года сочиненная, якобы, славным поэтом-песенником чуть ли не за одну ночь «Священная война» была исполнена на Белорусском вокзале перед отправкой солдат – кто-нибудь, интересно, выжил из них? – в мясорубку. Так это или нет, я не знаю, но поверить в это легко. Когда-то попало мне в руки «Избранное» этого В. И. Лебедева-Кумача с совершеннейшими перлами сталинистской лирики в нем, по ужасу и убожеству мало знающими равных себе. Особенно, я помню, стихотвореньице с простым и страшным названием «Садовник» меня поразило. Садовник этот ясное дело, кто – «Ус», как называли его в лагерях. «Вся страна весенним утром как огромный сад стоит, и глядит садовник мудрый на работу рук своих...». Написано это в тридцать восьмом году, когда кровь уже текла по всей стране, и весенним утром, и осенним вечером, ручьями и реками. «Радость бабочкой веселой пролетает по кустам, вьются песни, точно пчелы по лазоревым цветам...». Милый Александр Адольфович, каково тебе было там, в твоём Кратово? какие лазоревые цветы выращивал ты в саду? дрожал ли по ночам, ждал ли ареста? и какой черт дернул тебя связаться с кроваво-кумачовым воришкой? или ты сам, каким-то краем души, поверил в растреклятое светлое будущее, как, тем же краем, но все-таки, кажется, верили в него наши бабушки-дедушки? «День и ночь с веселым шумом сад невиданный растёт, день и ночь трудам и думам отдаётся садовод. Все ему проверить надо взором пристальным своим, чтобы каждый корень сада был по-своему любим. Он помощников расспросит, не проник ли вор тайком. Сорняки, где надо, скосит, даст работу всем кругом». Сорняки, где надо, скосит... Чудный текст для тридцать восьмого года. «Пар идет от чернозема, блещут капельки росы... Всем родной и всем знакомый улыбается в усы». Ах, ты, Боже мой, еще и в усы улыбается, сейчас мы заплачем... А «Священная война» – песня, хоть и затертая, конечно, на краснознаменных, шапкозакидательных пластинках, но, сама по себе, поразительная, с этим ее пафосом

страдания и счастья, победы и горя, решимости и сознания своей правоты. Композитор А. В. Александров, тоже немало потрудившийся на ниве прославления советско-египетской, российско-ассирийской государственности, всеобщего несчастья нашего, кажется, все-таки сам написал к ней музыку.

14.

На другой день отправились мы в краеведческий музей, в надежде разузнать что-нибудь о совсем другом, эфемернейшем, государстве, «Елецкой республике» 1918 года. В краеведческом музее никто о ней не слышал, но полагаться на краеведческий музей не приходится. Никакой и не было, возможно, «Елецкой республики»; был, во всяком случае, какой-то «Елецкий Совнарком», каковой Совнарком постановил между прочим, 25 мая 1918 года, «передать всю полноту революционной власти двум народным диктаторам – Ивану Горшкову и Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан». Из этих двух диктаторов – другой источник называет их *дуумвирами* – дуумвирами! каково! древний Рим в Орловской губернии! – из этих двух, значит, диктаторов-дуумвиров один, Иван Горшков, был большевик, другой, Михаил Бутов, левый эсер. Иван Горшков благополучно, кажется, дожил до 1961 года, дальнейшую судьбу Михаила Бутова мне выяснить не удалось. Вот какое-то «обращение» «К трудящимся города Ельца»: «Коллегия двух диктаторов – олицетворение союза рабочих и крестьян. Бутов самый популярный среди крестьян, Горшков – среди рабочих. Оба испытанные бойцы, люди с железной волей и твердой рукой, еще никогда в жизни не отступавшие и не уступавшие ни пяди, преданные идее революции до самопожертвования. Люди, которые сумеют умереть, как жили: бесстрашно и просто – за землю, за волю, за народ трудовой. Товарищи, преклонимся перед суровостью их жребия, перед величием их подвига и, со своей стороны, облегчим его безграничной преданностью интересам народа!». М. М. Пришвин, гражданскую войну переживший в Ельце и неподалеку, называет этого Бутова в своих дневниках «бывшим каторжником» и тут же бывшим «стражником императорского правительства» – кажется, или одно, или другое? Впрочем, о том, что Бутов – в прошлом стражник, пишет он постоянно, при каждом упоминании о нем. «В мещанской слободе стали обыски делать: искали сахар и оружие, брали все. Мещане собрались с духом и топорами зарубили трех красногвардейцев. Диктатор из стражников императорского правительства выставил против слободы всю артиллерию с пулеметами и, обернув орудия к небу, сам разъезжал

на вороном коне три часа подряд. Тут все поняли, что такое диктатор». (Запись от 14 июня 1918 г.) А вот дальше: «Хоронили убитых на Сенной площади, как на Марсовом поле, против Народного дома, выстроенного либеральным помещиком. Из буржуазных квартир вынесли цветы и сделали каре из пальм, лавров и других вечнозеленых растений. Возле могилы венки с надписью: “Проклятье убийцам!” Диктатор при салютах из орудий и пулеметов говорил речь и клялся на могиле, что за каждую голову убитых товарищей он положит сто буржуазных голов». Были при этой диктатуре и еще какие-то, судя по всему, комиссары, «народного» например, «просвещения». Вот запись Пришвина от 20 июня: «Комиссар народного просвещения, чувствительный человек, исполненный благими намерениями, выпустил для нашего города три замечательных декрета. Первый декрет о садах: уничтожить перегородки в частных садах за домами и сделать из всех бесчисленных садов три: Советский Сад № 1, Советский Сад № 2 и Советский Сад № 3. Второй декрет: гражданам запрещается украшать себя ветвями сирени, бузины, черемухи и других *плодовых* деревьев. Третий декрет: ради экономии зерна, равно как для осуществления принципа свободы выпустить всех певчих птиц». Почему же сиренью-то нельзя себя украшать? А потому, наверное, что какой-то «молодой купеческий сын», как узнаем мы из записи от 6 июня, купил однажды в Городском саду веточку сирени для барышни и отправился с ней гулять. Незаметно дошли они до того места, «за Сенной площадью, между острогом и монастырем», где «находятся могилы расстрелянных». Каких расстрелянных? А той самой «буржуазии», которую дуумвир Бутов так пламенно обещал уничтожить в отместку за трех красноармейцев. «Солдаты подумали: цветы несут на могилу, и арестовали молодого человека. Мать бросилась в комиссариат справляться. Ей сказали: “Его расстреляют”. За него похлопотали и скоро выпустили, а мать спрашивает теперь всех странно: Скажите, пожалуйста, я умерла, а почему же душу мою не отпевают?».

15.

В музее царил советская власть. «Коммуна», «славное революционное прошлое», «письмо Ленина елецким рабочим». А где же все остальное? спросили мы, весь ужас? вся мразь и мерзость? все преступления? А вон, сказала нам томная экскурсоводша, вон там, за дверью, стенд о коллективизации. О раскулачивании, и вообще... Маленький такой стендик, за дверью почти незаметный. У нас было больше, сказала экскурсоводша, но пришла, знаете ли, новая директриса... И что же? И велела убрать все. Наш музей – сам по себе экспонат. Это как же? спросили мы. Ну да, *памятник*



*истории музейного дела.* Теперь я понял, сказал я, это значит, памятники Ильичу по всей стране – это памятники не самому Кирпичу, но это *памятники истории монументальной скульптуры советского периода.* Ловко придумано... А что, сказала теряющая свою томность экскурсоводша, ведь это все и вправду наша история. Вот формула, от которой мне хочется удавиться. Мы вышли на улицу.

16.

Гимназия, где учился когда-то Бунин, где преподавал одно время, с 1887 по 1891, то есть целых четыре года как-никак, Розанов, преподавал, между прочим, «историю с географией», как шутили наши бабушки, бывшие гимназистки, то есть именно так, историю и географию, два предмета, где, наконец, четвероклассник Михаил Пришвин так разозлил своего учителя Розанова, что с ним самим, Пришвиным, приключилась пренеприятнейшая «история с географией», выгнали его, скажем просто, из этой гимназии, в которой, кстати, и Бунин не доучился, в отличие, между прочим, от Сергея Булгакова, родившегося в недалеких отсюда Ливнах, – примечательнейшая гимназия эта ничего особенно примечательного не являет собою, но предстает перед любопытствующим путешественником в виде кирпичного, за кирпичным же забором, двухэтажного, довольно длинного здания с несколькими, в рост самого зданья, деревцами у входа, с пустым и чистым асфальтовым школьным двором («резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор ее...», пишет Бунин), где разве что баскетбольная сетка на голубом, по виду свежевыкрашенном щите, укрепленном, в свою очередь, на трубчатой, трапециевидной конструкции, выкрашенной, опять-таки, в голубое («простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров...», вот и теперь, значит, за лето красят все свежей краской...), говорит об отличии нынешних, на каникулы, понятное дело, разбегавшихся школьников от тогдашних, сей бранный и славный мир давным-давно покинувших гимназистов, о баскетболе, разумеется, и слыхом не слышавших. Из женской гимназии, неподалеку расположенной, той самой, мимо которой Бунин старался проходить почаще, потому что уже волновало его, конечно, «все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей...», из гимназии этой советская власть сделала пединститут, а постсоветская превратила оный, понятное дело, как и все прочие пединституты, в «университет», впрочем – «имени Бунина». Достойным ли «имени Бунина» образом обстоит в нем дело с округлостью женских плечей и тонкостью женской талии, нам, увы, из-за каникул не удалось убедиться.

17.

Есть некая – в сущности, оскорбительная для нашего духа, взыскующего, как известно, свободы – неотвратимость в поступательном движении прозы. Сказал «а» – скажи «б». Хочешь не хочешь, а уже вынужден. Приехал в Елец, побывал в краеведческом музее, постоял у здания гимназии, где учились или преподавали все вышеназванные, дошел затем до городского сада, того самого, где купеческий сын сорвал свою роковую веточку сирени для барышни, городского сада, тоже, конечно, описанного и даже воспетого Буниным, где его, Бунина, в начале его гимназической жизни, «поразила несметная, от тесноты медленнодвигающаяся по главной аллее толпа, пахнувшая пылью и дешевыми духами, меж тем как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр», и где теперь ни оркестра, ни раковины, ни толпы, вообще ничего и никого не было, дешевыми духами не пахло и «очаровательный запах» обрызганных водяным дымом раскидистого фонтана цветов, которые, «как я узнал потом, назывались просто “табак”», ниоткуда не раздавался, зато пылью пахло изо всех сил, только пылью и все тут, пожухлой листвою в пыли, где и фонтана никакого не было, или он выпал из памяти, были только какие-то жухлые пыльные клумбы, жара, солнце, и вновь, и вновь пыль; приехал, значит, в Елец, зашел, по пути из краеведческого музея, в городской сад – вот и проза твоя, и фраза твоя тащится вместе с тобой и другой твоей спутницей, скажем так, по жаре, хочешь ты этого или не хочешь, хочет ли она сама этого или нет, и сад, к примеру, покинув, заходит, вместе с тобой и другой, потому что куда ж ей еще деваться, во все тот же, на пешеходной улице, ресторан, с его кондиционером, киевскими котлетами и вновь, почему-то, теперь уже между самими официантками и то ли хозяйкой, то ли какой-то вообще начальницей, толстой и наглой бабой, намечающимся скандальчиком, и посидев, и отдохнув в ресторане, выходит вновь на жару, и по очень длинной, очень разбитой и покосившейся улице плетется, волей-неволей, в музей Бунина, в тот деревянный, одноэтажный, с крылечком и наличниками на окнах дом, на заросшей сорняками окраине города, где он, Бунин, прожил четыре года «нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде», и где мы как раз, в ресторане отдохнувши телесно, отдохнули душою, потому что никакой советской власти там, в отличие от краеведческого музея, не было вовсе, но созданный уже при ее крушении, в 1988 году, музей этот показался нам каким-то крошечным, любовно воссозданным кусочком

старой России посреди всеобщего запустения, всеобщего обнищания, и две пожилые женщины, смотрительница и директриса, принимавшие нас не как случайных посетителей, но как их собственных, лично к ним пришедших гостей, первым делом угостили нас пахучими мелкими яблоками, еще, увы, не антоновскими, в стеклянной вазочке дожидавшимися нас на покрытом белой и кружевной скатертью круглом столе, в той ли комнате, где жил Бунин, или в соседней с нею, не помню, зато помню, как светилась эта вазочка на падавшем из окна солнце, и как яблоки, показалось мне, светились в ней тоже...; но все-таки, все-таки, как бы долго я ни тянул и ни дллил эту фразу, есть в этой последовательности раз и навсегда заданных передвижений, ее и наших, в открываемом нами пространстве, роковая неотвратимость, оскорбительная для нашей свободы, неизбежность перемещения из пресловутого пункта «а» в не менее пресловутый пункт «б», рабство у реальности, плен бытия. Я протестую против этого. Самое интересное – всегда в отступлениях, всегда в примечаниях. Какой там сюжет в «Евгении Онегине»? Сюжет там, конечно, тоже не последнее дело, сюжет там, вообще говоря, определяет собою весь русский девятнадцатый век, всю его «мифологию», но главная прелесть ведь все-таки в отступлениях, в отвлечениях от темы, не так ли? в том, что я плоды своих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей, и в этих утках, конечно, что слетают с берегов, вняв пенью сладкозвучных строф.

18.

«До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине» (Пушкин, «Путешествие в Арзрум»).

19.

У меня было две книги с собою в Ельце. Были уже упомянутые дневники Эрнста Юнгера с их описанием, вернее, не-описанием творимых немцами ужасов, разузнать о которых тоже было, судя по всему, целью, одной из целей его поездки на Восточный фронт, поскольку на Западном, и в частности во Франции, где немцы вели себя относительно прилично, об этих ужасах, творимых на Востоке, знали очень мало, лишь совсем отрывочные слухи и сведения о них доходили до каштанного, кафешантанного, как всегда и во все эпохи свои, Парижа, однако и на Востоке, где Юнгер, разумеется,

имел дело лишь с генералами и офицерами вермахта, а вовсе и ни в коем случае не с крысами из СС, ужас хотя и ощущался повсюду, но был все же спрятан от взоров некоей завесой умолчаний, недоговоренностей и намеков, отдернуть которую он, Юнгер, в конце концов, не решился, за что его нередко упрекали впоследствии, как если бы он обязан был смотреть в ту сторону, в которую мы сами не всегда способны заставить себя смотреть, хотя чего легче, казалось бы, съездить нам из Мюнхена, думал я, сидя рядом с А. на случайной скамейке возле бывших, Буниным описанных тоже, «Обжорных рядов», ныне превратившихся в обыкновенный, очень грязный рынок, где можно было купить что угодно, от поддельной майки с надписью Armani до неподдельных, очень вкусных, фиолетовых, налившихся соком слив, чего легче, думал я, съездить нам из Мюнхена в Дахау, всего каких-нибудь двадцать минут идет туда электричка, мы, однако же, упорно туда не едем, не в силах взять на себя этот груз ужаса, заранее представляя себе свою собственную реакцию на него, слезы и потрясение, боясь этих слез, оберегая себя от них, и пускай кто-то, кому не лень, упрекает нас в трусости, нам это совершенно безразлично, мы едем лучше в Елец, куда с юности мечтали поехать, и вот сидим теперь на скамейке возле бывших Обжорных рядов, попивая водичку из пластиковой бутылочки с надписью «Липецкий источник» и время от времени заглядывая в дневники Эрнста Юнгера, почему-то взятые с собою в дорогу, с их, следовательно, не описанием, но все же упоминанием, вернее, вновь и вновь всплывающими упоминаниями об ужасах, происходящих в этой несчастной, к 1942 году уже насмотревшейся и натерпевшейся разнообразных кошмаров, уже изуродованной и расколдованной «нигилизмом» стране, в которую другой подвид «нигилизма» вторгся со своей собственной спокойной жестокостью, своей холодной дьявольской яростью. «Дыхание живодерни», пишет Юнгер, «ощущается временами так остро, что пропадает всякое желание работать, всякая радость от образов и мыслей. Вещи теряют свое волшебство, свой запах и вкус. Дух утомляется при выполнении тех заданий, которые он сам себе поставил и которые прежде оживляли его. Вот с этим-то и надо бороться. Краски цветов на смертельном кряже не должны тускнеть перед нашим взором, даже в двух шагах от пропасти». – Второй же книгой, которую я взял с собою в поездку, был роман В. Г. Зебальда «Аустерлиц», его последний и, наверное, лучший роман, если это роман, опубликованный в 2001 году, то есть в том же самом, роковом для автора и для мира году, в последний год его жизни, когда он, Зебальд, 14 декабря, возвращавшийся откуда-то, я до сих пор не узнал откуда (биографии Зебальда все еще не существует, мне, по крайней мере, она неизвестна), вместе с дочерью на

машине домой в Норвич, в тот восточно-английский университетский Норвич, или Норидж, где он с 1988 года преподавал немецкую литературу, столкнулся со встречным грузовиком, причем якобы столкнулся с ним уже после разрыва сердца, от которого он, значит, и умер, уже мертвый водитель, не управляющий помертвевшей от страха машиной; и если наша смерть растет вместе с нами, как утверждал Рильке, то уж тем более она сказывается и намечается в наших текстах, почему мне и кажется, что это трагическая, быть может, лучших его текстов лишившая нас смерть всего лишь пятидесятилетнего автора каким-то, хоть я и не смог бы объяснить каким именно, образом *вписывается* в его книги, *выписывается* из его книг, вновь и вновь говорящих о непреложности невыбираемой нами судьбы, о неотменяемости неподвластных нам обстоятельств, вытекает из них как роковое, в самой своей невыносимой случайности неизбежное следствие.

20.

Зебальд, кажется, почти неизвестен в России, хотя «Аустерлиц» на русский переведен, переведено и знаменитое эссе Сьюзан Зонтаг 2000 года, где, еще до появления в печати «Аустерлица», но, разумеется, уже после прочтения других книг Зебальда, его первой, собственно прозаической, хотя и вырастающей, как и все его сочинения, из эссеистики, книги, название которой приходится перевести на русский как «Головокружение», его «Изгнанников», его «Колец Сатурна», говорит она, не обинуясь, о литературном величии, о возможности величия в эпоху господствующих в литературе серости и болтовни, в эпоху измельчания писательских амбиций, каковому измельчанию, каковой серости и противопоставляет она, ясное дело, Зебальда, и конечно, когда пишешь сейчас об этом, не можешь не думать, как быстро все кончается, все исчезает, что вот уже и самой Сьюзан Зонтаг больше нет на земле, а мы все еще не вышли из двухтысячных или, если угодно, нулевых годов, из этого десятилетия, в начале которого, за три месяца до гибели Зебальда, нью-йоркские, к концу десятилетия уже как будто забывающиеся взрывы вернули так называемое человечество в ту историю, которую оно так упорно старалось, так упрямо старается забыть, о которой не хочет и думать и о которой он, Зебальд, думал как раз постоянно, борясь с забвением, не поддаваясь ему, противопоставляя ему свое собственное, как иногда кажется, не покидавшее его отчаяние. Потому и проза его, с ее бесконечными, уверенной скорописью продвигающимися вперед предложениями, с ее иллюзорной документальностью и этими ее незабываемыми картинками, старыми фотографиями,

картами, письмами, которые он то и дело вставляет в свой текст, что, разумеется, бросается читателю в глаза в первую очередь и потому составляет как бы фамильное клеймо, *specialité de la maison*, этого зебальдовского, единственного в своем роде текста, – потому и эта проза, вновь и вновь, как замороженная, кружит вокруг упорно забываемых, но не заживающих исторических ран, вновь и вновь, по разным дорогам и с разных точек зрения подступая к тому, говоря словами Ахматовой, великому водоразделу, который навсегда отделяет настоящее и будущее от прошлого, а таковым для немецкого автора остаются, конечно, война, нацизм и уничтожение евреев, подобно тому, как для автора русского, хочет он того или нет, этим водоразделом и незаживающей раной навсегда, или на очень долго, останется революция, великое русское самоубийство и все, что последовало за ним, – кружит, как и мы сейчас кружим, вовсе, впрочем, не стремясь описывать события и страдания, свидетелем которых он сам, Зебальд, не был, но словно отыскивая их отражения в настоящем, в его, Зебальда, собственной жизни, прочитывая следы их, расшифровывая их тайные знаки. «Моя стихия – это не роман, а проза», сказал он в одном интервью – различие важнейшее. Проза в понимании Зебальда не навязывает читателю выдуманных героев и придуманные сюжеты, по крайней мере – делает вид, что не навязывает ему эти сюжеты и этих героев, которых он, читатель, уже, кажется, не воспринимает всерьез, но, сливая факты с вымыслом, судьбу автора с судьбами персонажей, создает ощущение подлинности, странным образом не отменяющее, но многократно усиливающее ощущение загадочности происходящего, таинственности мира, в котором господствуют какие-то скрытые от взоров связи и соответствия, где все со всем, не замечая этого, перекликается и взаимодействует.

21.

Елецкий Совнарком, следовательно, был образован – мне так до сих пор и не удалось установить когда именно, да в конце концов, не так уж это и важно, в самом, надо полагать, начале 1918 года. Во всяком случае, 19 марта 1918 года был принят (каким-то «пленарным собранием Елецких Совдепов») род конституции под скромным или все же не совсем скромным названием «Основной закон об организации Советской власти в г. Ельце и Елецком уезде», каковой закон, как не трудно догадаться, обрекал и уезд, и город на полное беззаконие, на образцовое положение дел в смысле удушения – «конфисковали», короче, все, что могли конфисковать у всех «бывших», землишку, значит, и золотишко, а заодно уж приступили и к строительству «новой жизни», начали

даже, по слухам, выпускать свои собственные деньги, свои почтовые марки, впрочем, все это только слухи, ни того, ни другого я не видел, и никого не видел, кто видел бы, а вот решение о создании Елецкой губернии, и, следовательно, об отделении от ненавистного Орла, в самом деле было принято «Совнаркомом» 23 апреля 1918, то есть старинная мечта ельчан о губернском статусе осуществилась, впрочем, ненадолго, без всяких сорока церквей, наоборот, понятное дело, с церквями уже начали бороться, церкви уже начали рушить, а между тем, ведь это 18 год, немцы намечаются на горизонте гражданской войны, 25 мая занимают Валуйки, до которых от Ельца и, соответственно, от которых в Елец можно доехать, например, на машине за несколько, пять или шесть часов, в чем нам самим, А. и мне, вскорости удалось убедиться. Вот тогда-то к власти и приходят уже известный нам дуумвиры, тут же почему-то решившие созвать какой-то «крестьянский съезд», для, как пишет Пришвин, «окончательного решения вопроса как о диктатуре, так и о войне». О войне с немцами, разумеется, то есть – давать или не давать отпор «германско-гайдамацкой загребастой лапе», защищать Елец или нет. 29 мая съезд, действительно, собрался, но, кажется, ни до чего договориться не смог, депутаты вскорости снова разъехались по своим деревням. 2 июня Пришвин записывает: «Вчера мужики по вопросу о войне и диктатуре вынесли постановление: “Начинать войну только в согласии с Москвой и с высшей властью, а Елецкому уезду одному против немцев не выступать”. По вопросу о диктатуре: часть селений высказалась вообще против диктатуры, а часть за то, чтобы диктаторы были выбраны с властью ограниченной и под контролем. На съезде высказались крестьяне против диктатуры, находя, что диктатура хуже самодержавия и всегда может лишить крестьянство завоеванных свобод». Ну, это диктаторам, ясное дело, не понравилось: «Бывший стражник нашей же волости, ныне уездный диктатор, метался по сцене театра Народного дома и кричал на представителей народа: Здесь собрались не пролетарии, а кулаки... На клумбе между розами свеклу посеяли. Выросла, разлопушилась свекла, и на все лето зацвела чайная роза». Второй же диктатор, как называет его Пришвин, кричал на мужиков-депутатов: «Что вы молчите, что, вам корова язык отжевала?». В общем, нет, не удалось диктаторам договориться со съездом. А для таких случаев есть у диктаторов известный рецепт, только что продемонстрированный на примере Учредительного собрания – разогнать и все тут, «караул устал», привет от Железняка. «После жаркого спора с диктаторами съезд хотел покинуть зал заседания, но встретил в дверях карательный отряд и возвратился. На следующий день на дверях съезда были объявления, что здесь собрание крестьян

партии большевиков и левых социалистов-революционеров. Не входя в здание, крестьяне выбрали представителя от волости и за их подписями подали заявление, что они беспартийные. Этим подписавшихся был приказ арестовать. В это же самое время с трех сторон города начались обыски с грабежом. Рабочие дали сигнал к остановке движения. Приехал броневик, открыл стрельбу. Делегаты разбежались по деревням». А дальше – что же? А дальше в елецкой «Советской газете» от 5 июня 1918 года читаем: «РЕЗОЛЮЦИЯ, принятая 3-м Елецким Крестьянским съездом [читай: большевиками и левыми эсерами, оставшимися от него] совместно с Советом рабочих депутатов и представителями проф. союзов и фаб-завкомов: Ввиду того, что острая опасность со стороны немцев и гайдамаков миновала, что принудительная мобилизация проводится во всероссийском масштабе из центра, – коллегия диктаторов упразднить, передав всю полноту власти Уездному Совету Народных Комиссаров, которому поручить создать малую коллегия для разработки планов и наивозможно большей продуктивности работы. Съезд предлагает С.Н.К. произвести беспощадную конфискацию капиталов буржуазии для содержания мобилизуемой армии и семей тех, кто с оружием в руках пойдет защищать революцию, предлагает принудительно мобилизовать всю способную держать в руках лопаты буржуазию для черной работы, рытья окопов и т.д. под наблюдением рев. войск. Произвести повальные обыски в городе и уезде с целью отобрания у буржуазии и кулаков оружия и излишка запасов продовольствия, дабы заставить всех и питаться и работать равно. Да здравствует Свобода и Равенство!». «Дуумвират», следовательно, просуществовал всего десять дней, «Совнарком» еще, по крайней мере, месяц. Потому как 6 июля 1918 года был, как все мы помним, убит Мирбах и непрочный союз кровавых романтиков с кровавыми реалистами рухнул.

22.

Вот еще несколько выписок из елецких газет эпохи «Совнаркома». «Советская газета» от 15 июня 1918 г.: «ПРОЭКТ ОБЫСКОВ, выработанный ЧК г. Ельца. Предс. ЧК С. Алексеев. ВОЗЗВАНИЕ от ЧК по обыскам г. Ельца. За последнее время по городу разнеслись провокаторские слухи, распускаемые темными личностями, что идут повальные обыски, отбирают все: и мебель, и одежду, и обувь, и самовары, и если есть 2 подушки, то одну берут, отбирают серебро и золото, даже серьги и колечки, а у сопротивляющихся рвут с ушами и пальцами. Не так давно разнеслась молва о таких грабежах, и рабочие, ничего не разобрав, побросали работу. Рабочих в этом сильно винить нельзя, т.к. каждая вещь ими нажита потом и кровью, и в настоящую эпоху



революции рабочие с трудом отдают себе отчет, что творится вокруг них, т.к. темные личности забивают здравый ум рабочих и этим хотят в мутной воде половить рыбки. Дабы не получилось то же, что и в предыдущие дни, Совдеп постановил: обыски провести организованным путем, выделив из себя 5 членов и пригласив все профсоюзы и кроме того от каждых 100 рабочих по 1 представителю. Следовательно, обыски будут производить сами рабочие, а самого себя бояться нечего, и себе верить можно. Вышеназванные организации выделили из себя лиц, назвав их ЧК г. Ельца по обыскам, каковая комиссия и будет руководить обысками под контролем самих рабочих. Призываем граждан отнестись спокойно к скоро начинающимся обыскам и довериться лицам, которых вы на это уполномочили. Лица, распускающие провокаторские и всевозможные грязные слухи, будут немедленно арестовываться, несмотря мужчина или женщина, и будут судиться по всей строгости революционного закона». Каковая строгость чудесно демонстрируется публикацией от 26 июня 1918 г.: «РАССТРЕЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. В ночь на 23 июня по постановлению ЧК по борьбе с контрреволюцией следующие лица: бывший жандармский ротмистр Сурков, бывший городской голова Н. П. Ростовцев, фабрикант Парамонов, священник Тихомиров, инженер Карлин и ктитор церкви Заусайловой Федоров». Замечательно отсутствие глагола. Ну в самом деле, все ведь и так понятно. Это те же «контрреволюционеры», о которых пишет Пришвин, или другие какие-нибудь? Нет, не те же, о тех сообщалось двумя неделями раньше, 12 июня, в заметке «МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ. БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ. 9 июня по постановлению чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией расстреляны трое сознавшихся убийц товарищей красноармейцев: Григорий Федоров Сапрыкин, Иван Кондратьев Башутин и Михаил Соковых; и два контрреволюционера, уличенные в связях с московскими заговорщиками, германскими шпионами в Курске и в организации елецкой контрреволюционной буржуазии: Алексей Николаевич Романов, сын фабриканта, и Константин Николаевич Лопатин (бывший председатель земской управы). Кроме того, расстрелян грабитель Леонов, пытавшийся производить провокационные обыски под видом агента комиссариата продовольствия и отбивавший мануфактуру. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией продолжает расследование».

23.

Расстреливали их, как рассказала нам в очередной церкви очередная, добродушная, очень толстая и, как почти все церковные люди, все-таки, с нашей светской точки

зрения, странноватая, с выпученными глазами, прислужница, у красных, кирпичных, длинных, щербатых стен бывшего мужского монастыря, много раз упоминаемого Буниным, до которого и мы дошли, наконец, на третий день нашего пребывания в Ельце, от гостиницы повернувши не вниз, к собору и городу, но вверх, пересекая ту самую Сенную площадь, о которой пишет Пришвин, мимо Народного дома, теперь сделавшегося театром, и дальше, по тому самому, как мы вскорости поняли, много раз, опять-таки, упоминаемому Буниным «шоссе между острогом и древним монастырем», по которому он въезжал в детстве в город и, соответственно, выезжал из него, выезжал из него и в самую первую, самую раннюю, в первой части «Жизни Арсеньева» описанную поездку, когда так поразил его «на самом выезде из города» «необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом», и за решеткой в одном из бесчисленных окон этого страшного дома – «человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, что я еще то же отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты...». – Вот так, сказала мне А., вот так мы и движемся сквозь цитаты. Вот именно, ответил я ей, нам только кажется, что мы видим все это само по себе, эту тюрьму, например, которая так и осталась, конечно, так по-прежнему и остается тюрьмой, разве что без человека с желтым лицом, но с теми же, явно, окнами, выглядывающими из-за новой, по виду, бетонной, еще усиливающей ее тюремность, стены, в действительности же мы движемся сквозь слова и цитаты, сквозь где-то читанное или еще не написанное, и двигаясь сквозь все это, сворачиваем налево, обходя монастырь, тот самый «монастырь времен Алексея Михайловича», о котором Бунин пишет в рассказе «Поздний час», одном из своих лучших, наверно, рассказов, упоминая его «крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора»; из-за которых ничего теперь не блестит, потому что никакого монастыря больше нет за этими стенами, но была при большевиках и по-прежнему есть – автобаза, грузовики за воротами, и как это, в общем, точно, что именно – автобаза, какое точное советское слово, сказал я А., целый соцреалистический роман выезжает из этого слова, лязгая сцеплением и буксуя в грязи, но Бог с ним, не в нем сейчас дело, а дело в том, что только стены, значит, и остались от монастыря и от прошлого, эти красные, кирпичные, очень длинные и высокие стены, которые, чем дальше мы шли, тем страшней становились, как будто вырастали перед нами и словно бы в нас самих, с их отчетливыми выбоинами, щербинами, крапинами, не знаю уж, от

тех ли пуль оставшимися на них, но так легко представить себе, что от тех, и почему же все-таки душу-то мою не отпевают? «Здесь, у стен Троицкого монастыря, 31 августа 1919 г., коммунары, защищая город, героически отражали атаки мамонтовских банд», разобрали мы на табличке. Валялись какие-то бетонные плиты в густой и сочной траве, и росли, и высились, и вздымались в небо пирамидальные тополя, похожие на кипарисы, напоминающие Рим, юг, свободу и счастье, и никакой, конечно, таблички с именами жандармского ротмистра Суркова, бывшего городского головы Н. П. Ростовцева, фабриканта Парамонова, священника Тихомирова, инженера Карлина и прочих, и прочих ни на одной из стен не было, а ведь каждый из них хотел жить не меньше нас с вами, и как молился, наверное, Тихомиров, как немел от ужаса Карлин, как спокойно стоял Парамонов. А кто их расстреливал? «Еще жив человек, расстрелявший отца моего», писал Иван Елагин в одном довольно потрясающем стихотворении. Человек этот давно уже умер, конечно. Вон стоит внук его, в физкультурных штанах, зеленых, обвислых и грязных, у водонапорной колонки, с папироской в крючковой руке.

24.

Я втайне двигался сквозь еще один текст – не написанный мною. Сквозь ту повесть, которая привиделась мне еще в начале восьмидесятых, которую я начал писать в середине девяностых годов и которую уже не надеюсь когда-нибудь написать, так что мне остается, в двухтысячных, только исследовать причины моего, еще недавно мучительного, теперь уже почти безразличного мне самому поражения. Из коих первая – историческая, зловещий призрак исторического романа, вновь и вновь возникающий на рвущихся от отвращения страницах. Легко написать «бывший стражник нашей волости», цитируя Пришвина, а попробуй написать это от себя, своей рукой, своим голосом. Какой *стражник*? какая *волость*? о чем ты? «Отряд вошел в город; объявлена была *дневка*...». *Дневка*, по определению Даля, есть *суточный роздых* (в отличие от привала, *роздыха часового*). Все это не так уж и трудно узнать, прочитать. Но совершенно невозможным, невыносимым с самого начала казалось мне, и до сих пор кажется, писать, всерьез, как ни в чем ни бывало, о *городской управе*, о каких-нибудь *колясках*, *подводах*. Вспоминается мандельштамовская эпиграмма начала тридцатых годов: «Один еврей, должно быть комсомолец, живописать решил дворянский старый быт: на закладной под звуки колоколец помещик в подорожную спешит». Комсомольцем давно уже, конечно, не будучи и евреем будучи только наполовину, я

все-таки чувствую себя этим несчастным, дрожащим по ночам, литератором, пришельцем из ниоткуда и сотрудником «Красной Нови», посягающим на запретные для него закладные. Хорошо было Бунину писать об армяках, аршинах и аргамаках. А как мне писать – всерьез – о городской, действительно, или, пуще, земской управе, о пристяжных и прочих коренниках? Некий советский писатель, выдавая «на гора» очередной роман (с ударением на о) из жизни то ли декабристов, то ли еще каких-то «пламенных революционеров», порадовал, говорят, читателя, сообщением, что на входящем в «салон» офицере надеты были «белоснежные лососины». Редактор ничего не заметил, корректор тоже. Так эти лососины и плавают по литературным преданиям погибшей, или почти погибшей, эпохи. Тухлой рыбой воняет литература.

25.

А вот раздел «Почтовый ящик» все той же «Советской газеты». 3 июля 1918 г.: «**Далинскому**. Стихотворение не пойдет. “Манят – тают” – не рифмы. Вы пишете: “Ее распростертые крылья, Познав свободы высоту, Паря, летя, зовут и манят К себе, с собой под солнца блеск, К его лучам, в которых тают...” Что это? Набор слов или поэтическая вольность выражения?! Попробуйте писать еще, но только с заглавием. **Гражданину С.** Гражданские браки утверждаются в комиссариате внутренних дел. **Рабочему Маркову**. “Памяти покойного” не пойдет. В №34 уже была статья по этому поводу. **С. Гуд**. “Люблю тебя” не пойдет. “В душе струны поют, Они страстью горят”. Это верно, товарищ. Но только не те струны и не та страсть, о которых вы говорите дальше в словах “поцелую ее, ненаглядную”. Нельзя личное, субъективное смешивать с великим чувством свободы. **Окчинскому**. В своих стихах вы хотите примирить непримиримое: “Большевик, меньшевик, Демократ, бюрократ, – Примирись, обоймись И на шваба ополчись”. При том самая форма стихов устарела: “Русь разорвану сшей, Любви светом согрей, И тогда ты навек Будешь славен, человек”. Что-то Тредьяковского напоминает. Стихи не пойдут. **В. Мешаеву**. “Жизнь пролетариата” не годится. Надо по возможности обрабатывать свои произведения, а также переписывать чисто, без помарок». А вот стихотворение, которое «пошло»: «**Солнце свободы**. Великое солнце поднялось Над нашей родною страной – И в поры застрехи [sic!] умчалось, Что жаждало крови одной. Все гады, все совы ночные, Спешите скорей по норам – Довольно уж властвовать вам. **А. Вольный**». Тут же: «Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем – Теодор Лисковский». Глагол снова отсутствует. Тире красноречивей, конечно. Тире, прочерк, зияние. Вот в этот прочерк

все и провалилось, вот в эту бездну все рухнуло... На завтрак в елецкой гостинице с оригинальным названием «Елец» покупал я, в дурно-пахнущем буфете, у толстых теток, вкуснейшие сырники. Прости меня, Теодор Лисковский, если можешь, за то, что я жив.

26.

Левые эсеры, особенно в провинции, сдались, как известно, не сразу. Елец 8 июля, то есть через два дня после убийства Мирбаха, объявлен был «на осадном положении» (что бы сие ни значило), то есть введен был, по-видимому, комендантский час и – приказом № 1 некоего военкома Будкова – запрещены все собрания. 14 июля «осадное положение», если верить «Советской газете», отменено. В том же номере замечательное сообщение под заголовком «Изгнание могильщиков революции»: «На районном собрании членов железнодорожного военно-революционного комитета, согласно телеграммы [о, этот страшный родительный падеж вместо дательного! весь «совок» уже в нем!] от Викжедора [не знаю, кто такой, а вспоминается чудный анекдот про Гордона Крэга, приезжавшего в уже советскую Москву в начале двадцатых годов: «Передайте мистеру Мосторгу, что больше я в его магазин не приду никогда!»] постановили: исключить из состава членов комитета иуд-социалистов всех оттенков». Вот еще какая-то «резолуция общего собрания Совета рабочих депутатов»: «Беднота в Ельце поддерживает все шаги из центра. Клеймит позором левозсеровских “людей-недолюдков”. Полная до смерти поддержка ВЦИКу». Еще собрания, еще резолюции. Вот какое-то «общее собрание партии левых эсеров» («повестка: выборы делегатов на Саратовскую партийную конференцию, просят не опаздывать, т.к. в тот же день в 9 ч. веч. лекция т. Нат. Рославец и М. Бутова о V съезде Советов»); а вот «Пленарное собрание Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов» (все с большой буквы): «Речь Нат. Рославец: “Я была у Свердлова. Я задала ему вопрос: что он думает о нашей партии. Он сказал мне, что наша партия еще не умерла, что она только нуждается в чистке. [Красиво звучит, приятно для слуха] Она не умерла и не умрет постольку, поскольку стоит за интересы трудового народа, а не за кулачество”. Затем Н. Рославец говорит о том, что думает Ленин о партии л. эсеров: “Я должна вам сказать, что Ленин сам по отношению к крестьянскому вопросу стал на народовольческую точку зрения. Ленин считает, что партия левых эсеров не умерла еще. Он передавал, что не нужно даже менять название ее ... Необходимо реорганизовать нашу партию. В этом отношении у нас левых эсеров одна надежда на

саратовскую конференцию членов партии, которые остались верны знамени пролетарской революции“». А вот речь какого-то Гроднера, передаваемая газетой: «Не верит, что Ленин – ортодоксальный марксист, мог так сказать. Что распоряжение о разоружении левых эсеров пришло по телеграфу. “Я говорю – эта партия должна рано или поздно умереть, атрофироваться. Все же между двумя партиями, платформа которых общая, необходимо и возможно соглашение. Я заключаю свою речь призывом к вам, товарищи, наладить отношения с местной группой лев. эсеров”». А вот, если угодно, «Отчет о 2-м дне работы пленарного собрания Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»: «Доклад комиссара юстиции Золотухина (эсер). Говорит о том, что левозесеры постановили членов своей партии с ответственных должностей не отзываться (собрание аплодирует). Сообщает о прошедшем съезде судей. Судьи в настоящее время должны стремиться разрешать дела по крайнему разумению [что это значит?] и по совести, а не по букве закона, как было раньше. Предлагает Председателем Рев. трибунала – Кондюрина».

27.

Скука охватывает нас, меня и Музу, читающую все это вместе со мною. Все-таки перескажем, вкратце, историю с неким Крюковым, тоже левым эсером, ездившим в Москву по поручению «местных товарищей». «Советская газета» от 31 июля 1918: «Экстренное собрание Елецкой организации партии левых эсеров. Доклад т. Крюкова: он ездил в Москву для доклада о взаимоотношениях елецкой организации коммунистов и эсеров. В Москве приняли Аванесов, Свердлов и Бонч-Бруевич: они категорически не считают народничество обреченным на гибель, так как партия может умереть как тактическая единица, но идея не умирает... Тов. Ленин в беседе с Крюковым указывал, что и коммунисты настолько далеко ушли от своей прежней теории, от книг, что у них вовсе нет программы в настоящее время, а в платформе чрезвычайно много косвенных позаимствований у теории народничества, так что острые грани между партиями стерты и в настоящее время никакие теоретические расхождения не могут иметь место. Вывод из этого для Ельца тот, что народники имеют полное право на существование и коммунисты должны работать с ними в полном согласии». «ЧТО ЭТО?» (передовица «Советской газеты» от 11 августа 1918 г.): «На последнем пленарном заседании выступил Крюков, видный член елецкой организации эсеров. Он отчетливо докладывал собравшимся [как докладывал? отчетливо...], что т. Ленин в беседе с ним высказался за то-то и то-то, что о том-то сказал так-то. Мы не передаем содержание беседы гр.

Крюкова с Лениным, потому что для нас это не важно. Почему же не важно? Да потому, что беседы этой не было. Да, читатель, не было. И вот доказательство. Т. Ленин в своем письме в Елец от 6 августа пишет: «Долгом считаю заявить, что все это сказки и что ни с каким Крюковым я не беседовал, убедительно прошу рабочих и крестьян относиться с чрезвычайной осторожностью к таким господам, говорящим слишком часто неправду»». Письмо Ленина «Елецким рабочим» действительно существует, печатается во всех собраниях его сочинений, в чуть иной, правда, редакции – «этаких господ» елецкие умельцы приписали все-таки от себя. Нам, впрочем, не до разночтений в канонических текстах Кирпича, нас занимает все-таки реальность за ними, реальность, или то, что мы называем так, за всеми этими письмами, резолюциями и фракциями, пленарными заседаниями и прочими бонч-бруевичами, эта серая, скучная, страшная и, в серости и скуке своей, все-таки невообразимая, немислимая реальность. Вот письмо Александры Ивановны Ростовцевой из рода Ростовцевых, одного из тех знатных купеческих родов, которые были когда-то всем в Ельце, стали, увы, ничем, сыну Сереже от 4 сентября 1918 года: «Голод пришел к нам и хлебный и молочный, т.к. коров отобрали у всех жителей, а из деревень молока не носят, как не возят и никаких овощей, ни картофеля, ничего. У властей такая политика, чтобы всех сморить с голоду. До этого времени жили ничего, были сыты. Дома будут взяты, ни у кого не будет *своего* дома, и плату с квартирантов будут получать домовые комитеты. Коммуна, да и только». А вот письмо тому же Сереже его отца, Михаила Ростовцева, от 18 марта 1919: «Погода эти дни у нас морозная, холодно, в Городе многие сидят в нетопленных помещениях... У нас в городе тоже, как и везде, много больных, умерли Доктора: Андреев и Недарадов. Наша Губерния на военном положении. Продовольствие стало доставать еще трудней, и цены повышаются. Курица 100 и 120 руб. Я поступил на службу в Контору Скуфьина Конторщиком 3-го разряда, жалование мне 525 руб. в месяц...». Хорошее жалование, пять куриц можно купить. А вот, послушаем еще Пришвина: «Френч и Галифе с револьвером в руках наготове ведут мещанина в пиджачке, человека лет сорока, измятого, избитого, за ними человек десять красноармейцев с винтовками наизготовку. Ведут. Лучшая гостиница в городе превращена в тюрьму для контрреволюционеров». Это какая же гостиница? Уж не та ли, которую описывает Бунин и в «Жизни Арсеньева», и в чудесном рассказе «Подснежник» – и чего, кажется, не простишь ему за это начало: «Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица – и был гимназистик Саша,

которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему мать, называла подснежником»?

28.

Эта «Дворянская гостиница» на все той же, пешеходной, улице сохранилась, то есть здание сохранилось, конечно, трехэтажное, каменное, с очередным куполом очередной церкви за ним, и в нем самом обнаружился книжный магазин, где и купили мы выше цитируемую переписку семьи Ростовцевых, изданную, кстати сказать, уже в наше время представителем другого знаменитого купеческого елецкого рода В. А. Заусайловым, в остальном же обыкновенный, канцелярским клеем пахнущий книжный магазин с обыкновенным расхожим глянцем и какой-то краеведческой мелочью, не заменяющей той истории Ельца, которую мы искали и которая, очевидно, еще не написана, и на пешеходной, бывшей Торговой улице, все те же лавочки и лавчонки, из коих только маленькая душная лавочка с елецкими кружевами привлекла нас и в первый, и во второй день, и в третий, и все это, на третий день, мы знали уже наизусть, и по-прежнему была жара, волнами накатывавшая из степи, из дикого поля, и были эти чудовищные тротуары, которые не ремонтировали, кажется, со времен Второй мировой войны, если не Первой, и эти отбитые, облупившиеся стены, покосившиеся ворота, какие-то уже ни к чему не относящиеся колонны, эти развалины, это кирпичное крошево, и никакой, конечно, не было Елецкой республики, а в том, что было, поэзии во всяком случае не было, но только резолюции, и фракции, и расстрелы, и жара, и разбитые тротуары, и пыльные тополя, и эта печаль провинции, повсюду та же, это безжалостное солнце, эта выжженная жизнь, это спаленное прошлое, эта пыль, въедающаяся в самые наши мысли, и куда-то мы все идем, все идем, от мужского монастыря к женскому, через овраг.

29.

А ты, что же, хочешь поэзии? Поэзия, дорогой мой, начинается там, где начинаются легенда и миф. Там, где сказка, легенда и миф, там, на миг, не так страшно, там история улыбается, там сизый солнечный луч пробивается сквозь грязно-серые облака, как пробился он, в начале девятнадцатого года, не так уж, в сущности, по российским масштабам, далеко от Ельца, в Полтавской губернии, где несколько месяцев, но процарствовал все же некий «Царь Глинский и всея правобережной Ворсклы», он же – Иван Гордиенко, простой хуторянин. На реке, действительно, Ворскле, той самой, на



которой в августе 1399 года предводительствуемые Едигеем татары наголову разбили великого Витовта и союзных с ним русских князей – «ни Чингисхан, ни Батый не одерживали победы совершеннейшей», замечает в своей «Истории» Карамзин, – а заодно и перебежавшего к литовцам Тохтамышша, впоследствии убитого Едигеем, убитым, в свою очередь и в дальнейшем последствии, одним из сыновей Тохтамышша, – вот на этой-то Ворскле, во времена от нас не столь отдаленные, но не менее *убивательные*, жил, в селе Глинске, некий, в самом деле, простой, хотя и зажиточный, как сообщают источники, хуторянин по имени Иван Гордиенко. Глинск же, ясное дело, переходил из рук в руки, от одной банды к другой. К весне 1919 года Ивану нашему Гордиенко все это надоело. Собрал он свою собственную банду и всех остальных прогнал к чертовой бабушке. Освободил и еще пару сел, среди них некое село Опошня, объявил себя «верховным комиссаром» и начал, значит, освобожденными землями править, навел порядок, какого в тех, да и не в тех, местах давненько уже не видали. Однако недолго пробыл Иван Гордиенко «верховным комиссаром», а решил «венчаться на царство». Заявился со своими молодцами в опошненскую церковь, приставил наган к виску местного священника и потребовал, чтобы тот «короновал» его. Каковая коронация и совершилась при огромном стечении народа, под перезвон всех имевшихся в наличии колоколов... Затем происходит самое трогательное. Царь Иван решает, что жена его, простая крестьянка, не отвечает более царскому его достоинству. Все того же священника, угрожая все тем же наганом, заставляет он себя с женой развести и обвенчать с местной учительницей – воплощение, надо думать, высшего начала в системе его мироздания –, которую, скорее всего, никто и не спросил, хочет ли она становиться «царицей». Отныне царствуют они вместе. По царству своему разъезжают «в коляске, запряженной четвериком, украшенные, вместо корон, свадебными венцами, взятыми из церкви. Когда коляска останавливалась возле церкви, сопровождавшая царя свита вносила Ивана Гордиенко в церковь на обитом бархатом кресле»... «Слава о нем гремит на много сотен верст. Не только такие богатые, большие местечки, как Будище, Диканька и Рубаевка, признают его власть, но сама Котельва “бьет ему челом” и присылает богатые дары». «В его царстве наступили мир, покой и тишина. Нет больше налетов банд, прекратились грабежи и реквизиции, исчезла советская власть». Так продолжалось несколько месяцев. «Когда же стал приближаться фронт, картина резко изменилась. Вновь прибыли представители советской власти в округ, и “царь Иван”, опасаясь за свою “царскую” персону, бросив и свою “царицу”, и своих приверженцев (по другим сведениям, “с немногими

приверженцами”), в один “прекрасный” день исчез из Глинска в приворсклых лесах. О дальнейшей его судьбе сведений нет».

30.

Я впервые прочитал о примечательнейшем этом эпизоде в книге В. Н. Звягинцева «Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну» (Париж, 1966). Рассказывает эту историю, довольно подробно, в своих в 1973 году в Мюнхене изданных мемуарах («Дроздовцы от Ясс до Галлиполи») и В. М. Кравченко, штабс-капитан ВСЮР, то есть «Вооруженных Сил Юга России», затем, в эмиграции, начальник второго, то есть германского, Отдела РОВС, то есть, говоря попросту, начальник Русского Общевоинского Союза в Германии (интересно все-таки, что делал он при нацистах?), в Мюнхене же, в 1976 году, и скончавшийся. В 1976 году я писал свои первые, гумилевообразные, стихи, и о Мюнхене, если думал, то втайне от себя самого. В Мюнхене, где я живу теперь в десяти минутах от главного вокзала, если ехать на метро, и в пятнадцати, если ехать, например, на трамвае, с большой помпой, в этом 1976 году, отмечалось как раз столетие трамвайного сообщения, основанного, значит, в 1876, в каковом году трамваи еще никакими трамваями, конечно же, не были, но были тем, что в России называлось некогда конкой, вагончиком, запряженным лошадьми; вот такая-то конка, разукрашенная баварскими бело-голубыми флагами, и ходила в тот юбилейный год по улицам сказочной баварской столицы, к умилению прохожих, проезжих. До этой конки Владимиру Михайловичу Кравченко, о котором больше ничего я не знаю, уже не было никакого, наверное, дела; перед смертью, хочется верить, вспомнил он, среди прочего, в последний раз прошедшего у него перед глазами, в *заглазье*, и далекую тихую Ворсклу с ее заводями и ветлами, и ту церковь в Опошне, где навек напуганный батюшка рассказывал ему, все еще вздрагивая, как венчал на царство, под револьверным дулом, обезумевшего Ивана.

31.

А каким он был, как выглядел, этот Иван Гордиенко? А она, учительница? Мы ведь не знаем даже, как ее звали. Откуда она взялась, откуда приехала в эти места? А не сохранилось ли фотографий? Мне не удалось разыскать ни одной. А ведь, наверное, какой-нибудь местный фотограф снял их при въезде в очередную Опошню. Вот они стоят, он – какой же все-таки? – тяжелый, грубый, с сухим, суровым лицом, и она, «барышня», очень миленькая, пухленькая, с ямочками на щеках, еще испуганная, но

уже входящая в новую роль, уже шалеющая от власти, от страсти... Он ведь был, наверное, первым ее мужчиной. Вот сюжет, конечно – конечно! Она была еще девушкой, а он-то ведь, в сущности, ее изнасиловал. И она ему, сама по себе, не нужна, она для него «символ», аллегория его новой власти и высоты, его безумного взлета и безудержного дерзания. Потому он, в конце концов, и бросил ее, не раздумывая. А она влюблена в него – ну конечно! – она влюбилась по уши в этого грубого, дикого мужика, она на все готова, куда хочешь бы за ним побежала. И она же учительница, значит, хоть немножко, «народница». А тут – «народный царь», «мужицкое царство». А еще и веселые ночки, и вино, и – куда-нибудь, с гиканьем, на тачанках... Пропадай, Расея... Все летит в тартарары. Но все-таки царство, воля и власть. И он, конечно, сам уже «съехал со всех основ», уже не понимает, где он и что он, уже царь – и все тут, «царь-батюшка», «царь-государь». Замечательно, что он ни за кого не выдавал себя, как это свойственно на Руси, да и не только на Руси, самозванцам, ни за какого убиенного Димитрия, ни за какого Петра Третьего, на манер Пугачева. Но как – судьбою! – подобрано имя. Царь Иван – конечно! как еще и прозываться крестьянскому царю, защитнику обижаемых и гонимых? Здесь никаких других доказательств не нужно, никакой, прости Господи, «легитимации» не требуется. Царь Иван – о чем еще говорить, и так все понятно! Звали бы его... да хоть Николаем, как Николая Второго – ничего бы у него не получилось, наверное. Царь Николай Глинский? Кому он нужен? Никто за ним не пойдет. А вот Иван! царь Иван! Грозный, Глинский... Да и были ведь, при Грозном, какие-то Глинские... Что-то, «в памяти народной», быть может и сохранилось... Быть может. Но главное все же – Иван. Да и фамилия какая – гордая! не Петькин какой-нибудь. И замечательно, что он – исчезает. Исчезает, скрывается... Как это было, в «Бесах»? «Мы скажем, что он “скрывается”, – тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. – Знаете ли вы, что значит это слово: “он скрывается”?». Знаем, знаем, еще как знаем, Петр Степаныч... Есть *правда мифа* в этом исчезновении. «Народный царь» и не может так просто взять и от какой-нибудь шальной пули погибнуть. Он может только – скрыться, исчезнуть, затеряться «в приворсклых лесах». В лесах, в глубине, в потаенном сумраке времени, во мгле истории, из которой суждено ему – появиться. «Но он явится, явится». Вот тут-то Ворскла и выйдет из всех своих берегов.

В 19-ом году в Ельце ничего подобного не было, советская власть укрепилась, о своем собственном Совнаркоме больше не помышляли, бывший диктатор Михаил Бутов регулярно печатал статьи в газете «Соха и молот», в какую превратилась почему-то «Советская». Вот, например, его заметка от 25 июня 19-го года: «РАБОТА ЗА КУЛИСАМИ. Помещики в Елецком уезде живут в своих родовых гнездах, прикинувшись овечками. В Дрезгаловской волости обретается помещик Коротнев. Он имеет хутор, выгон, сад, 4 породистых коровы, 2 породистых козы и несколько овец, которые пасет по найму 14-летний мальчик. Имеется кухарка. Правда, у него сыновья в Красной Армии. Но им место не в Армии, а рыть окопы. Вина в таком положении – в простодушии и мягкосердечии крестьян. Не раз делали постановление о выселении помещиков, но порядка нет». Как видим, «положение дел в смысле удушения» было все-таки не совсем «образцовое». Надо было товарищам «подтянуться». Товарищи подтянулись.

33.

Продвигаясь дальше – в пространстве, во времени – выходим мы на колдобистую обширную площадь, называвшуюся некогда «Бабий базар», где, по преданию, продавали когда-то невольниц в половецкий полон и в татарское рабство, что, по мнению двух местных мужиков – тень Гоголя ложится на эту фразу –, сидевших, попивая по очереди пиво из большой двухлитровой темно-пластиковой бутылки с хорошо знакомой мне надписью Bitburg, на лавочке в ожидании очевидно несуществующего автобуса, означало, что продавали свои же, в мирное или относительно мирное время, поскольку, как растолковал нам объявивший себя краеведом-любителем один из этих мужиков в цветастой рубашке навывпуск и с лоснящимся, крючковато-краснеющим носом, во время набега было не до торговли, да и стали бы татары, заметил другой мужик, тоже, по-видимому, краевед, что-нибудь у кого-нибудь покупать, они сами брали у кого хотели все, что хотели. Елец был сожжен половцами в 1155, затем в 1166, razoren Батыем в 1237, роковом году русской истории, вновь razoren баскаком Ахматом Темиром в 1283, причем, как сказано в летописи, «татары пометаша головы и руки псомъ на изъедь... и хлебъ въ уста не идетъ от страха», в 1316 разграблен ханом Узбеком, в 1318 каким-то Кочкой, в 1320 каким-то Байдерой. Уже упоминавшийся Тохтамыш razорил город в 1382 году и затем еще раз в 1388, наконец, в 1395 великий его соперник, Тамерлан, обрушился на Елец всей своей бесчисленною ордою, простоял в нем пятнадцать дней, razорил его и окрестности – и

затем повернул вдруг обратно, почему-то избавив Россию и Европу от того «гнева Божия», воплощением которого считал себя. В 1408 город захвачен уже, опять-таки, упоминавшимся Едигеем, вновь разграблен в 1415, захвачен ханом Улу-Мухамедом в 1437... не хватит ли? спрашивает меня Муза. В 1448 разграблен снова, в 1502 захвачен Менгли Гиреем, в 1521 Магомет Гиреем, в 1528 разорен каким-то крымским царевичем Исламом, в 1552 крымским ханом Давлет Гиреем, в 1555 снова Давлет Гиреем, в 1556 и, наконец, в 1571 снова Давлет Гиреем. В 1592 году, а ведь уже Иван Грозный умер, Феодор Иоаннович царствует, «трезвонить лишь горазд», опустошен ордами крымского хана Фети Гирея; «сведоша полону много множество яко и старые люди не помнят такие войны отъ поганыхъ», пишет летопись. Украинский гетман Сагайдачный опустошил город в 1618 году до основания... а ведь это уже при Романовых, уже Михаил Федорович на троне, уже Смута закончилась. Затем наступает, до самого двадцатого века, во всей русской истории, единственный, трехсотлетний, при всех невзгодах, но все-таки – перерыв в ужасах, приостановка кошмара. Пиво было допито, автобус, разумеется, не пришел.

34.

Когда брата его, арестованного за «социализм», увезли под надзором добродушных жандармов в Харьков, и отец с матерью, потрясенные случившимся, уехали к себе в деревню, Бунин, как рассказывает он в «Жизни Арсеньева», бродил и бродил, не в силах прийти в себя, по Ельцу, спустился по «черной слободе», таковой она и осталась, к кожевенным заводам, каковых мы не обнаружили, перешел через «зловонный речной поток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами», каковых шкур мы, опять-таки, не заметили, соответственно и зловония не было, но «поток» был, и так же круто, далеко, высоко поднималась за ним «противоположная гора» с женским монастырем, на ней расположенным; «он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древнерусской иконописной красоты, что я, пораженный, даже остановился...». Монашки не было, но монастырь, в отличие от мужского, возвращенный церкви и понемногу отстраивающийся, сиял, в самом деле, новой, свежей, меловой белизною, и под ним, у «святого», конечно, они все такие, источника, где какое-то шумное, на полусгнивших «Жигулях» подъехавшее семейство набирало воду в бидоны, в церковной, в виде маленькой синестенной часоушечки построенной лавочке, продавала обычные в церквях иконки и книжки уже не молодая,

из-под Харькова, как мы выяснили, разговорившись с нею, переехавшая сюда инокиня, с одним из тех просветленных, почти святых, в самом деле, лиц, какие встречаются ведь, действительно, хотя и на удивление редко, среди церковных людей, с таким, буквально, лучистым взглядом, такими сине-сияющими глазами, что, показалось мне, свет за окнами мерк рядом с этим, изливавшимся из них, светом. В монастыре были груды щебня, кирпичной крошки, поломанные кирпичные стены, вообще развалины, как бы уже абстрактные, развалины просто, снова щебень, вновь мусор, дощатые, с заколоченными крест-накрест окнами, бараки, с сохранившейся на одном из них надписью «Рабочий городок», остатки поселка, созданного советской властью на месте разрушенного ею монастыря, поселка, где, по рассказам очередной служки в очередной церкви, бедность всегда была ужасающая и откуда до сих пор никак не удается выселить последние две, что ли, семьи, упорно отказывающиеся переезжать из этих развалин куда бы то ни было, тут же – заново отстроенная, очень белая, трехъярусная, с острым блестящим шпилем, взлетающая в синеву колокольня.

35.

Две девушки, совсем не хорошенькие, в линялых джинсах и пестрых косынках, пололи какие-то грядки на солнышке. «Вы трудницы, девочки?», спросила сведущая в этих делах А. «Чё?», ответили девушки. «Трудниками» и, соответственно, «трудницами» называют, как выяснилось, в монастырях мирян, приезжающих на сколько-то, скажем, дней, на неделю, чтобы в монастыре, во славу Божию, потрудиться. «Я спрашиваю, вы здесь трудницы, в монастыре?» – «Неее», протянули девушки. «Мы здесь на практике». Тут уж я не мог не вмешаться. «На какой такой практике?» – «Ну, на практике...», сказали девушки, что, мол, тут непонятного. «Вы здесь в университете учитесь?» – «Ну да, в университете...» – «Имени Бунина?» – «Имени Бунина». – «И это у вас все проходят такую практику, в университете имени Бунина?» Девушки смотрели на меня как на полного уже идиота. «Ну разумеется, как же иначе? Вот, посылают нас... Монастырь запрашивает, а нас посылают...». Из чего мы, в качестве любознательных путешественников, делаем глубокомысленный вывод, что рабский труд используется в России по-прежнему. Сказал бы кто-нибудь моим немецким студентам, что их «пошлют» полоть какие-то грядки, разгрести мусор и вообще «убирать территорию» – они бы, наверное, даже не поняли, о чем речь. И вот оно, сочетание старого с новым. Советская «практика», но – в монастыре. Посылают по-прежнему «на картошку», но – по просьбе архиерея. Знал бы Бунин, что его ждет.

36.

Когда-то, когда я еще верил, что смогу написать мою повесть из времен гражданской войны, мой «роман на старый лад», я изучал, понятное дело, источники с растущим остервенением, и пытался, и вновь пытался представить себе, как же все это было на самом деле, как выглядело, как пахло, и вновь, и вновь приходил к выводу, что ничего не могу представить себе, ничего не вижу, не слышу, не осязаю, и совсем отчаиваясь, решался вообще отбросить все декорации, поломать исторические кулисы, перенести действие в воображаемый город, вымышленную страну, придумать, в духе все того же Эрнста Юнгера, его, уже упомянутых, «Мраморных утесов», мир, которого не было, не могло быть, какое-нибудь условное Бургундское герцогство, Аквитанское королевство, где герой мой и сам я могли бы двигаться спокойно, свободно, не спотыкаясь об *армяки*, не натываясь на *аргамаков*. Но и из этого, странным образом, ничего не получалось, как если бы дело было вовсе не в тех или иных исторических декорациях, и даже не в отсутствии оных, а в чем-то, что лежит и таится за ними, где-то там, за кулисами прозы. Не моей лишь, но вообще, наверное, всякой... Доказательств, конечно, нет. Доказать ничего невозможно. Но есть, при невозможности доказательств, ощущение совсем другой невозможности, невозможности, вообще и еще раз, персонажей, действия и сюжета, выдаваемых за что-то, что «действительно» было, было «на самом деле», хотя и автор, и читатель прекрасно знают, конечно, что персонажей этих никогда не было, что сюжет выдуман, а было что-то непостижимое, неуловимое, бесконечно и безнадежно влекущее, к чему, выдумывая сюжет и придумывая персонажей, приблизиться все равно не удастся. С удовольствием выписываю из «Записных книжек» Лидии Гинзбург: «Современное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традиционной художественной прозы. Эту иллюзию до предельной осязаемости, до исчерпанности довел еще Толстой. Нам постыла тяжелая трехмерность, видимость второй действительности, средостением встающая между писателем и читателем». Петербургский поэт и мой, смею сказать, друг Алексей Машевский развивает эти мысли в своей, довольно замечательной, эссеистически-дневниковой книге «В поисках реальности»: «Сейчас нужно писать не романы и рассказы, а записки о том, как и какие можно было бы написать романы и рассказы, причем это и будет роман, рассказ. Я сочинил бы книгу, состоящую из одних проектов с подробным их описанием. В сущности, это все, что требуется. Не заниматься же пережевыванием манной каши эпизодов с диалогами и ремарками вроде:

“он сказал”, “она подумала”». Проза еще возможна, роман уже нет. Доказать ничего нельзя, и пускай, кто хочет, считает иначе... Вот так-то, *сказал я А.* на обратном пути к оврагу. Что *она подумала*, она мне не сообщила.

37.

Россия после Батые. Нет, лучше: Россия после Едигея и Тохтамыша. После Куликовой битвы, после «Угрского стояния». Короче, нет уже татар, буря пронеслась, все закончилось. И набегов нет, и дань платить не надо. И надо снова начинать жить, а как жить? Жить вроде бы уже разучились... Да и власть опять-таки – наследница все тех же татар, московские князья – продолжатели великого ордынского дела. То есть власть эта, признаваемая своей, в то же время и по-прежнему чужая, захватническая. Мы здесь копошимся в земле, а они где-то там, в кремлевских своих палатах... Но что-то все же возрождается, поднимается, уж как умеет, криво и косо, наспех и впопыхах, без радости, в сущности, без надежды, не веря в будущее, не веря в себя. Ну, вот хоть церкви восстанавливают, и то слава Богу.

38.

Вдруг все исчезает, вся тяжесть, тягость, жара, и даже собственные твои мысли о Батые и о романе, и последние сто лет улечиваются куда-то, и остается вечная русская деревянная улица, колодец, небо над косогорами, и откуда-то, уже почти по-осеннему, вдруг тянет едким, сладким дымком, и в еще разогретом воздухе появляется, вместе с внезапной, сквозь жару пробивающейся прохладой, прощальная прозрачность, почти истома, покой, смирение, примиренье..., и сладчайшие сливы, с дерева за кособоком забором попадавшие на пешеходную, всю в асфальтовых трещинах, отделенную от дороги крапивно-лопуховой канавой дорожку, кажутся тебе сгустками уже проходящего, на глазах твоих проходящего, лета, уже терпкими, уже поддающимися распаду сгустками палящего, но уже теряющего свою ярость и неистовство солнца, и затем мы свернули куда-то вправо, и пройдя вдоль очередной полуразрушенной кирпичной стены, мимо бокового, еще не восстановленного, входа, с витыми колоннами, создающими как бы портик над дверью, остатками фриза с игрушечными пилястрами по бокам, зашли в самую, как нам показалось, прекрасную из елецких церквей, Церковь Рождества Христова, где был чистый светлый сосновый пол, уходящая в небо высокая шахта купола, преображенный свет, льющийся из нее, и спокойно-веселая, от монастыря посланная наблюдать за церковью монахиня, долго



рассказывавшая нам, что замазанные «в советское время» фрески теперь понемногу восстанавливаются сами, чудесным образом и с помощью Божьей, особенно, когда никто не видит их, по ночам.

39.

Варварство лучше, чем нигилизм? Конечно. Но трудно думать о преимуществах варварства перед нигилизмом, когда это варварство бьет тебя палкой по голове. Мамонтов вошел в Елец в ночь с 31 августа на 1 сентября 1919 года и оставил город через неделю. Вот книжка некоего М. Рымшана «Рейд Мамонтова. Август – Сентябрь 1919 г.», Москва, «Государственное военное издательство», 1926, стр. 35. Источник, конечно, предвзятый, советский. Все-таки процитирую: «В ночь на 1 сентября Мамонтов занял г. Елец без всякого сопротивления [без всякого? а как же А. Вермишев, защищавший вокзал? как же «коммунары, героически отражавшие»?]. Руководивший обороной Ельца бывший полковник сдал город с музыкой. Занятие Ельца произошло настолько быстро, что советские учреждения не успели эвакуироваться и остались все в городе. Противник вошел в город в числе 2.000 сабель во главе с Мамонтовым. По взятии города, охрана последнего была возложена на гимназистов, студентов и бывших офицеров, а сами казаки приступили к хозяйничанью. Были сожжены все железнодорожные мосты, склады, станции, казармы и фабрики [так-таки все?]. Все [?] прилегающие совхозы разграблены и уничтожены. Весь пленный комсостав был раздет на площади догола и избит нагайками. Коммунисты и евреи [все поголовно?] расстреляны. Из красноармейцев организованы три отряда для охраны обозов с награбленным [красноармейцы, выходит, не сопротивлялись]. Казаки открыли распродажу награбленного: мануфактуры, сахара и продовольствия. К городу потянулись тысячи крестьянских подвод за дешевым товаром [ну еще бы! при Советах ничего было, разумеется, не достать!]. На площади города ежедневно происходили митинги против Советской власти. Улицы были усеяны трупами убитых и расстрелянных, заподозренных в сочувствии к Советской власти и служивших в разных советских учреждениях. Все это происходило при благосклонном участии Мамонтова и его штаба. После первого угара обывательского элемента по поводу прихода белогвардейцев – антисоветский восторг понемногу начинает угасать». Чему тут верить, чему тут не верить? Что «улицы были усеяны трупами» и т.д., это М. Рымшан, конечно, присочинил, но что грабежи и, главное, еврейские погромы были, в этом сомневаться, увы, не приходится. Газета «Соха и молот» публикует, по свежим

следам, подробный отчет о «кровавой неделе». Номер от 16 сентября: «КАЗАКИ В ЕЛЬЦЕ. ПОНЕДЕЛЬНИК (1/IX). Всю ночь громят магазины и склады (мануфактурные и сапожные) и тут же продавали [с временами здесь путаница, зато какая динамика, как скачет время, куда ему вздумается...]. Появились на улицах расклеенные приказы и воззвания белогвардейцев с программой Деникина. Утром в монастыре торжественные похороны двух убитых казаков с музыкой и пулеметными залпами. После похорон грабеж квартир коммунаров. Во всем приняли участие подонки местного общества. Тогда же начали грабить квартиры евреев и коммунистов. В еврейских квартирах творилось что-то ужасное. Туда стало врываться и хулиганье. Они указывали казакам квартиры евреев. Многих прямо на улице растерзала толпа. Ночью пожар в направлении Ефремовского вокзала». Похоже все-таки, что грабили не одни «подонки местного общества»: «К РАБОЧИМ КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ. Страшный удар нанесен кожевенной промышленности в Ельце. Большая часть кожевенных предприятий расхищена несознательными рабочими и самими жителями. 1,5 тыс. рабочих и семей на краю голодной смерти. Возврати инструмент и кожи». «Соха и молот» от 17 сентября: «Сегодня последний день явки рабочих в батальоны. Неявившиеся – дезертиры. И. Горшков». Тут же: «ЖЕРТВЫ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ. Уже похоронено 53 человека». Пятьдесят три... А сколько вообще евреев было в Ельце? «Соха и молот» от 24 сентября 1919 г.: «В РЕВТРИБУНАЛЕ: 18/IX рассмотрены дела: 1). Воронов-Вронский, бывший штабс-капитан, комендант и начальник обороны г. Ельца – расстрел – 24 ч. 2). Иншаков, Александр Алексеевич – указывал нахождение девушек-евреек, лично избивал и насиловал – расстрел – 24 ч. 3). Михеева и Кокоткина – грабежи, пьянство с казаками, прием награбленного и указание евреев – расстрел – 24 ч.». Кокоткина – неужели фамилия? или все-таки *nom de guerre*?

40.

«Я считал действия генерала Мамонтова не только неудачными, но явно преступными. Проникнув в тыл врага, имея в руках крупную массу прекрасной конницы, он не только не использовал выгоды своего положения для разгрома войск противника, но явно избегал боя, все время уклоняясь от столкновений. Полки генерала Мамонтова вернулись, обремененные огромной добычей в виде гуртов племенного скота, возов мануфактуры и бакалеи, столового и церковного серебра. Выйдя на фронт наших частей, генерал Мамонтов передал по радио привет “родному Дону” и сообщал, что везет “Тихому Дону” и “родным и знакомым” “богатые подарки”. Дальше шел

перечень “подарков”, включительно до церковной утвари и риз. Радиотелеграмма эта была принята всеми радиостанциями. Она не могла не быть известна и штабу Главнокомандующего. Однако генерал Мамонтов не только не был отрешен от должности и предан суду, но ставка явно его выдвигала...» (Барон П. Н. Врангель, «Воспоминания»).

41.

«Соха и молот», в последний раз, от 16 сентября 1919 года: «НАПРАСНАЯ НАДЕЖДА. Разочаровавшись в казаках Мамонтова, не принесших ни хлеба, ни спокойствия, ни воссоздания промышленности, а только еврейские погромы, местная буржуазия с нетерпением ждет прихода “регулярных войск” Деникина. Напрасная надежда». Надежда, в самом деле, оказалась напрасной. А регулярные войска были рядом, были, в сентябре-октябре, совсем близко, бои за Елец шли упорнейшие, но город взят все-таки не был, взяты были Ливны, белые стояли уже за Сосной, дневники Пришвина, например, полны слухов и шепотов о том, что они завтра придут, наконец, вот-вот, вот сейчас уже будут, а их все нет и нет, все не приходят они, «пытка наша теперь сверх всякой меры, сверх всякого смысла так ужасна постепенностью, длительностью и сознанием какой-то бесконечности: это ад, а современное имя ему – коммуна», а большевики все же бегут, живут на вокзале в вагонах, опять появляются, в записи от 1 октября узнаем мы, что «ребята-коммунисты держатся, видимо, прилично, только вождь Горшков совсем сплеховал: ничего не боится, только боится одного: расстаться с жизнью», на другой день, что «увезли, говорят, под арестом и нашего верховного диктатора Горшкова (конец: невращения)», а затем вновь и вновь слухи, пушки гремят за рекой, «так мы ждем здесь освобождения при выстрелах с горизонта, а совершенно не знаем, кто нас освобождает, мы живем, как жили мужики в темных деревнях, и ждем от освободителей только хлеба, как ждали мужики только земли», но хлеба нет, и освобождение не приходит, только слухи и страхи, «все власти уехали, пусто», «ожидается бой с разрушением зданий, с пожарами», а тут уже зима подступает, уже холод забирается во все щели, «стужа ужасная и притом страх, что нас разденут, непременно разденут!», и все идут, идут куда-то какие-то обозы, солдаты.

42.

Всегда знаешь, что недосмотрел, недопонял. Реальность ведь вообще недосыгаема, что бы ни обозначали мы этим словом. Наше злосчастное, несчастное «я» стоит, конечно,

между нами и ею, наши дурацкие «настроения», наше идиотское «самочувствие», усталость, головная боль, голод, жажда, раздражение, вдруг нас охватывающее, печаль, нами владеющая, и это всегдашнее чувство неправильности, какой-то роковой предварительности, недоделанности всего происходящего с нами, как если бы мы жили в черновике некоего текста, который начисто никогда, конечно, написан не будет, жили, двигались по этому тексту, страдая от его несовершенства, увязая в помарках, путаясь в примечаниях, ненужных подчеркиваниях, необязательных прочерках. Все-таки мы иногда – отстраняемся, отрываемся от своего «я», все-таки, на миг, забываем его и себя же, и тогда вдруг так ясно, подробно, видим, вот, в последний раз, холл гостиницы, с буфетом налево и стойкою в глубине, за которой другая администраторша вяжет другую кофточку, эти два узкодверчатых лифта, два кресла в холле, в которых никто никогда не сидит, и затем, уже на улице, эти ларьки, где мы покупали каждый день питьевую воду в огромных пластиковых бутылках, этот высокий поребрик, эту низенькую зеленую изгородь, из железных прутьев, перед пыльным каким-то сквером, этот деревянный, с крылечком, дом на другой стороне улицы, это гаснущее, блеклое небо над далекими, тоже синими куполами собора, над пожарной темно-красною каланчою. Уезжали мы вечером, договорившись с молоденьким таксистом, моим тезкой, что он довезет нас до самых Валук за какую-то, по европейским понятиям, относительно смехотворную сумму, и вот снова потянулись обочины, перекрестки, мост через небыструю Быструю Сосну, с обрывистыми ее берегами, затем какие-то совсем новые куски города, до которых мы не доходили пешком, открылось, наконец, широкое шоссе, подстепье, по которому свободно мы покатались, на юг, на Воронеж, закат перемещался над редкими перелесками, мой тезка-таксист звонил время от времени по мобильному телефону жене, на мой вопрос об елецкой республике ответил, что никогда не слыхал о такой, что, наверное, если бы она и вправду когда-то была, жизнь в Ельце была бы совсем другая, на шоссе, после оврагов, мостиков, деревень, возникали новые, светящиеся, как в любой Европе, бензоколонки, с кофейными автоматами и обычным набором «Сникерсов», но с дороги мы все-таки сбились, уже в густых сумерках заехали непонятно куда, уперлись в какие-то вдруг ворота, из-за которых вышел готовый к отпору, исподлобья оглядывавший нас офицер в сопровождении двух солдат с автоматами, отнюдь не кофейными, и я совершенно ясно понял, в мгновенной вспышке отчаяния и страха, что если нашему водителю не удастся мирно с ним объясниться, развернуться и поскорее уехать отсюда, как оно, в конце концов, и случилось, то мы въедем сейчас в эти ворота, они же навсегда за нами

захлопнутся, и там, за воротами этими, все будет, как всегда, как во сне, и начнут нас обыскивать, и допрашивать, и «выяснять личности», и проверять документы, и поведут вдоль слепых стен, под охрипшими сводами, обратно в двадцатый век.